



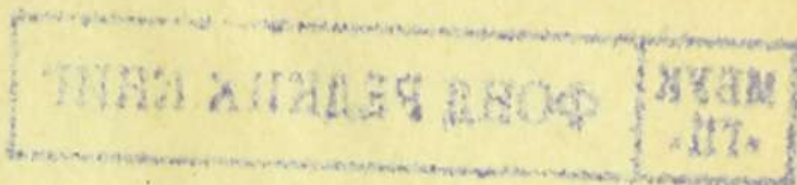


833(2=411.2)52

К 48

КРИТИКО-БИОГРАФИЧЕСКАЯ СЕРИЯ

М. КЛЕВЕНСКИЙ



В. М. ГАРШИН

ДАР
Л. ПОЛЕВОГО



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

МОСКВА

1925

ЛЕНИНГРАД

ГУМАНИТАРНЫЙ
ЦЕНТР
Г. ИРКУТСК

76240

МБУК «ГЦ»	ФОНД РЕДКИХ КНИГ
--------------	------------------

ИЗДАТЕЛЬСТВО
ИРКУТСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Гиз № 9300. Главлит. № 34881. Напеч. 5.000 экз.

1-я Образцовая типография Госиздата. Москва, Пятницкая, 71.

I

Выдающийся писатель 70-х и 80-х г.г. XIX столетия Всеволод Михайлович Гаршин происходил из дворянской семьи. По семейному преданию, родоначальником Гаршиных был татарин-мурза Гарша или Горша, явившийся из Золотой Орды на Русь в XV веке. Потомки его владели землями в Воронежской губернии. О своих ближайших даже предках Гаршин знал мало, — очевидно, изустные родовые предания плохо сохранялись в его семье. Дед писателя по отцу был человек жестокий и властный: он сильно порол своих крепостных, пользовался гнусным «правом первой ночи» и самовластно расправлялся с соседними однодворцами, если они в чем-нибудь проявляли непокорность. Он очень расстроил свое имение, а наследников было много, так что отцу Гаршина, Михаилу Егоровичу, одному из 11-ти или 12-ти детей, досталось в наследство всего только 70 душ крепостных в Старобельском уезде Харьковской губернии. Михаил Гаршин по характеру был полной противоположностью отцу, — он был человек мягкий и слабый. Он кончил гимназию, учился 2 года в Московском университете, но потом увлекся военной службой и поступил в Глуховский кирасирский полк. По словам сына, он никогда не бил солдат, — для николаевского времени это было редкостью. Переезжая с полком по Южной России, М. Е. Гаршин познакомился с дочерью бахмут-

ского помещика Акимова, Екатериной Степановной, и в 1848 году женился на ней.

Дед Гаршина по матери, Акимов, бывший морской офицер, отличался образованием и, по отзыву внука, был на редкость хорошим человеком. К своим крестьянам он относился по-человечески — за это прослыл среди других помещиков опасным вольнодумцем и даже просто помешанным человеком.

Екатерина Степановна была старшей дочерью. Хотя отец ее умер рано, но и после его смерти заботы об ее воспитании шли в прежнем направлении, — ей выписывали книги, нанимали учителей. Гаршин говорит, что его мать была для своего времени исключительно образованной девушкой. Когда она стала матерью, то много заботилась об умственном развитии и начитанности своих детей. Брат Гаршина, Евгений, так характеризует свою мать и ее роль в семье: «Все держалось у нас матерью, просвещенной и энергичной женщиной, большой работницей, но исключительно интеллектуального типа». Сын называет ее «профессиональной журналисткой 60-х годов» и говорит, что она зачитывалась народнической литературой. Ее журнальная деятельность выражалась в переводах с французского. Вот еще одна характеристика Екатерины Степановны, сделанная особой, в ранние свои годы близко стоявшей к семье Гаршиных (характеристика относится к тому времени, когда Всев. Мих. был уже студентом): «Насколько мы, дети, боялись отца Всев. Мих., настолько крепко и радостно были привязаны к матери Гаршина. Бледное одухотворенное лицо ее с яркими, умными, пронизательными глазами стоит и теперь передо мною, как живое. Говорили про нее, что была она из «красных», будто бы в свое время пострадала за убеждения, но мало мы в те детски-ранние времена разбирались в этом и, ко-

нечно, не за это любили ее. Рассказывали еще про нее, что была она духовно близка с Чернышевским — но так ли это, удостовериться не могу». Рассказы о том, что Е. С. Гаршина когда-то «пострадала за убеждения», повидимому, ни на чем не основаны. Трудно сказать, были ли у матери Гаршина радикальные взгляды в молодости, но с течением времени они, во всяком случае, выветрились. В своем кратком предисловии к письмам сына она во враждебном тоне говорит о советах его «либеральных друзей». Екатерина Степановна была не только книжным человеком: она, когда нужно было, умела делать всякое домашнее дело.

Первые годы после женитьбы молодые Гаршины переезжали с места на место, смотря по тому, где квартировал полк. Всеволод Михайлович был третьим сыном. Он родился 2 февраля 1855 года в имении бабушки Акимовой «Приятная Долина» Бахмутского уезда Екатеринославской губернии. От самых ранних лет у него остались смутные воспоминания о полковой обстановке, огромных рыжих лошадях и огромных людях в эффектной кирасирской форме. В 1858 году Михаил Егорович, получив наследство от умершего отца, вышел в отставку и купил дом в г. Старобельске, в 12-ти верстах от которого находилось его имение.

Маленький Всеволод был баловнем в семье. Даже посторонние люди восхищались его своеобразной красотой, и все окружающие любили его за кротость и хороший характер. Уже в самые ранние годы он проявлял большую впечатлительность. Под влиянием слышанных неоднократно рассказов о свежей у всех в памяти Севастопольской кампании, он несколько раз решал, что ему нужно самому отправляться на войну: собирал кое-какие вещи в узелок и приходил прощаться с домашними. По свидетельству его брата, эти

сборы не были для него только игрой: он искренно проникался тем, что ему нужно сделаться солдатом, и приходил к матери прощаться печальный и грустный. На ее уговоры он с глазами, полными слез, повторял, что он должен идти на службу...

Нельзя сказать, чтобы раннее детство Гаршина протекало в нормальных и благоприятных условиях. Вот что он говорит в своей автобиографической заметке: «Пятый год моей жизни был очень бурный: меня возили из Старобельска в Харьков, из Харькова в Одессу, оттуда в Харьков и назад в Старобельск (все это на почтовых, зимою, летом и осенью); некоторые сцены оставили во мне неизгладимые воспоминания и, быть может, следы на характере. Преобладающее на моей физиономии печальное выражение, вероятно, получило свое начало в ту эпоху». Первый биограф Гаршина, Я. Абрамов, хорошо знавший его лично, сообщает по этому поводу: «Еще ребенком Всеволоду Михайловичу пришлось пережить многое такое, что выпадает на долю лишь немногих. Говорить об этом, однако, неудобно ввиду того, что до сих пор еще живы участники драмы, невольным свидетелем которой был Всеволод Михайлович». Это писано еще в 1888 году, но и в позднейшей биографической литературе о Гаршине нет никаких разъяснений на этот счет. Во всяком случае, ясно, что дело шло о тяжелом семейном разрыве: в 1860 году мать со старшими братьями уехала в Петербург, Всеволод остался с отцом. Разлука с любимой матерью тяжело легла на его душу.

Три года прожил мальчик вдвоем с отцом. Они жили либо у себя в деревне, в степи, в обстановке дворянского оскудения, либо в Старобельске, либо у одного из дядей мальчика в том же Старобельском уезде. Отец Всеволода, в обществе которого он

прожил от пятилетнего до восьмилетнего возраста, был странный человек. Он обладал образованием и известными склонностями к общественной деятельности. Во время подготовки освобождения крестьян он был членом Харьковского губернского комитета от Старобельского уезда. Позже, по введении земских учреждений, он был ревностным земцем, членом Старобельской уездной земской управы первого призыва. Но жизнь рано измяла его и сделала несчастным. С течением времени душевная неуравновешенность его все развивалась, и кончил он, как кажется, почти полным душевным расстройством. Последние годы жизни он носился с идеей каких-то изобретений — уже психопатического свойства. Та же свидетельница, чей отзыв о матери Гаршина приведен выше, так описывает Михаила Егоровича в конце его жизни (он умер в 1870 году): «В то время отец Гаршина еще был в живых, но видали его мы, молодежь и дети, очень редко, так как он появлялся среди нас большею частью внезапно, — порывисто войдет и уходит, поселяя в детских душах наших смущение, тревогу и любопытство... Он был душевно неуравновешен, был занят манией постройки воздушной железной дороги, и я, тогда двенадцатилетняя девочка, ярко запомнила эти висевшие по комнатам веревочки, по которым прокатывались маленькие вагонетки. Характерное и больное лицо его тоже врезалось в моей памяти: худое, со втянутыми щеками, с седоватыми бачками и нервно и беспокойно блуждающими глазами». Очевидно, вот где источник той душевной неуравновешенности, которая проявлялась у двух из сыновей Мих. Ег. Гаршина.

В рассказе Гаршина «Ночь» вся V глава носит явно автобиографический характер. Это — воспоминания о собственном детстве писателя, приписанные герою

рассказа. Приводим отсюда один отрывок, ярко рисующий обстановку этих трех детских лет Гаршина.

«Помнишь ли ты себя маленьким ребенком, когда ты жил с отцом в глухой, забытой деревушке? Он был несчастный человек, твой отец, и любил тебя больше всего на свете. Помнишь, как вы сидели вдвоем в долгие зимние вечера, он — за счетами, ты — за книжкой? Сальная свеча горела красным пламенем, понемногу тускнея, пока ты, вооружась щипцами, не снимал с нее нагар. Это было твоею обязанностью, и ты так важно исполнял ее, что отец всякий раз поднимал глаза с большой «хозяйственной» книги и с своей обычной печальной и ласковой улыбкой посматривал на тебя. Ваши глаза встречались.

— Я, папа, вон уж сколько прочитал, — говорил ты и показывал прочитанные страницы, зажав их пальцами.

— Читай, читай, дружок! — одобрял отец и снова погружался в счеты.

Он позволял тебе читать все, потому что только доброе осядет в душе его милого мальчика. И ты читал и читал, ничего не понимая в рассуждениях и ярко, хотя по-своему, по-детски, воспринимая образы».

Читать Гаршин научился пяти лет, по старой книге «Современника». Никогда в жизни, по его воспоминаниям, он не прочел такого количества книг, как за три года жизни с отцом. Не говоря о массе детских книг, он прочитал в эту пору Жуковского, Пушкина, Гоголя, Лермонтова; из «Героя нашего времени» понял мало, за исключением Бэлы, над которой горько плакал. Плакал и над «Хижинкой дяди Тома». В семь лет мальчик прочел «Собор Парижской богородицы» Гюго, «Что делать» Чернышевского читал в то время, когда роман печатался в журнале. В «Современнике», «Вре-

мени» и других журналах за ряд лет он прочел все, что было ему хоть сколько-нибудь понятно. Сам Гаршин полагал, что это чрезмерное и несоответственное возрасту чтение было очень вредно для него. Кроме чтения, мальчик занимался еще очень охотно рисованием.

В конце лета 1863 года мать приехала за Всеволодом и увезла его с собою в Петербург. С той поры он делается петербургским жителем, хотя и выезжает часто в другие места. В следующем году девятилетнего Гаршина отдали в 7-ю петербургскую гимназию, преобразованную через два года в реальное училище. Учился он не особенно важно — отчасти по болезненности, отчасти отвлекаемый посторонним чтением. Два раза он оставался на второй год по болезни и один раз по малоуспешности, так что семилетний курс превратился для Гаршина в десятилетний. Хорошие отметки Гаршин получал за русские письменные сочинения и по естествознанию, к которому чувствовал большое влечение. К математике, подобно многим писателям-художникам, Гаршин чувствовал отвращение, хотя непонятной для него она не была.

С товарищами Гаршин с самого начала сошелся хорошо и с некоторыми из гимназических приятелей сохранил дружбу до самого конца жизни. Товарищи оценили мягкий и кроткий характер Всеволода и относились к нему бережно.

Первые годы своей петербургской жизни Гаршин жил у матери. Склад жизни в семье был не дворянский, а интеллигентски-разночинный. Имение не приносило доходов и позже было совсем продано. Семья перебивалась кое-как: давала уроки мать, давали уроки сыновья, по мере того, как подрастали. Нельзя сказать, чтобы для Всеволода обстановка была вполне

благоприятная. Жизнь в семье шла довольно беспорядочно. Мать была чрезвычайно общительным человеком; она очень любила новых людей, любила разговоры о литературе, о различных житейских делах. Среди постоянных посетителей и нескончаемых разговоров — в тесной квартире мальчику трудно было найти себе спокойный угол для своих занятий.

В 1868 году мать Гаршина с самым младшим сыном, Евгением, уехала в Старобельск, и для Всеволода началась самостоятельная жизнь. Сначала он со старшими братьями жил на отдельной квартире, потом жил у дальних родственников, у знакомых, в гимназическом пансионе. Очень важно было для него знакомство, заключенное в эту пору с семьей А. Я. Герда. По словам Гаршина, Герду он был обязан более, чем кому-либо другому, в своем умственном и нравственном развитии.

Каждые каникулы Гаршин-гимназист куда-нибудь уезжал. То гостил он в Петрозаводске у своего бывшего домашнего учителя, то в Старобельске, то жил на даче под Петербургом, то в Новгородской губернии. Летом он со страстью отдавался природе, собирал грибы, ботанизировал. Любовь к гербаризации сохранилась у него на всю жизнь. Влечение к естествознанию и сведения в этой области у молодого Гаршина были так велики, что многие предсказывали ему будущность ученого-естествоиспытателя, а гимназические товарищи дали ему прозвище «ботаника».

В Петербурге чтение оставалось любимым занятием Гаршина и поглощало много времени. С 4-го класса начинается участие Гаршина в рукописной гимназической литературе. Он помещает свои фельетоны за подписью «Агасфер» в гимназической «Вечерней Газете», и они пользуются успехом. Как естественно для гим-

назиста, Гаршин упражняется и в сатирическом бытописании: он сочиняет поэму гекзаметрами, в несколько сот стихов, где описывает ученический быт и преимущественно — классные драки. К гимназической же поре относятся и первые попытки Гаршина сочинять «для себя». До нас дошло одно из классных сочинений Гаршина — «Смерть». Оно показывает в авторе хорошее умение владеть литературным языком.

Не в пример громадному большинству школьников старого времени, Гаршин сохранил о своем учебном заведении самые дружелюбные воспоминания. В своей автобиографии он дает очень теплые отзывы о директоре и о учителях словесности и естественной истории.

О внутренней жизни Гаршина-гимназиста нам мало известно. Он принимал подчас оживленное участие в веселых предприятиях сверстников, но семена того тоскливого настроения, которое впоследствии захватило Гаршина целиком, зрели уже в эти юные годы. Один из школьных сотоварищей Гаршина (Налимов) говорит, что другим гимназистам Гаршин не представлялся пессимистом, но тут же прибавляет, что у него порой вырывались слова, полные глубокой печали. Такие слова мы находим в письме его к товарищам от 2 июля 1873 года. «Недавно узнал я только, что брат мой Виктор умер, застрелился. Благоую часть избрал. Прямо в сердце, не мучился несколько... Теперь я обретаюсь в крайнем унынии, да это пройдет, может быть, нелегкая вывезет. А теперь скверно». На другого мемуариста, И. И. Попова, Гаршин в гимназии производил впечатление сумрачного, грустного и молчаливого юноши. «В юношеские годы он критически относился к своим поступкам, и в действиях его проявлялась своего рода нерешительность: «Гар-

шин — Гамлет», говорил про него Дрентельн (гимназический приятель Гаршина, впоследствии известный физик).

В конце 1872 года, когда Гаршин был в 7-м классе, впервые резко проявилась его душевная болезнь. Она развилась, конечно, на почве наследственности; жертвою этой наследственности был и застрелившийся старший брат его. Первоначально болезнь выразилась в том, что Гаршин стал проявлять различные странности, лихорадочно отдавался собиранию различных коллекций, брался за некоторые затруднительные технические предприятия и обо всех своих затеях говорил, как о чем-то исключительно важном. Когда его странности и крайнее нервное возбуждение обратили на себя внимание окружающих, Гаршина поместили в больницу св. Николая для душевнобольных. Здесь он сначала вел себя довольно разумно, намеревался учиться у других больных музыке, английскому языку, чтобы время не пропадало даром. Но болезнь стала усиливаться, и в начале 1873 года Гаршин был уже настолько плох, что к нему не всегда допускали навещавших его лиц. Когда он несколько поправился, его взяли домой, но сильнейшие нервные припадки по ночам заставили отдать больного в лечебницу доктора Фрея. Разумное лечение возымело свое действие: к лету 1873 года болезнь прошла, и Гаршин, после полугодового лечения, мог вернуться к своим школьным занятиям.

В 1874 году Гаршин кончил свое среднее образование. После того, как 7-я гимназия была преобразована в реальное училище, окончившим школу ученикам был закрыт доступ в университет. Гаршин думал последовать примеру тех своих школьных товарищей старших выпусков, которые поступили в медико-хирургическую академию. Но ко времени окончания

им курса по распоряжению министра реалистов перестали принимать и в медицинскую академию. В распоряжении Гаршина таким образом оставались только специальные учебные заведения. Все они были для него мало привлекательны, и он избрал горный институт, — только потому, что в его курсе было поменьше ненавистой ему математики.

В институте Гаршин занимался своими специальными науками лишь настолько, чтобы удовлетворить официальным требованиям учебного заведения. Душа его не лежала к этой специальности, и уже через два года пребывания в институте Гаршин пишет одной близкой особе, что, может быть, и не будет кончать института, так как карьера горного инженера пугала его.

Для того, чтобы существовать, Гаршин принужден был либо брать чертежные работы, либо давать неизбежные для бедного студента уроки: то он за обед учит читать какого-то мальчика, то готовит «молоденькую и весьма миловидную девицу» к экзамену на домашнюю учительницу по арифметике и географии. Очень усердно Гаршин посещает оперу и концерты, — музыка давала ему много наслаждения. Но главное влечение Гаршина-студента — это литература, проба своих сил в этой области.

Для Гаршина в эту пору уже ясно, что именно в литературе его призвание. Любимой им девушке он пишет осенью 1876 года: «Даю вам слово, что в эту зиму вы увидите мое имя в печати. Я должен идти по этой дороге во что бы то ни стало». А еще за год до того, летом 1875 г., он сообщает Герду, что сидит за столом каждое утро и исписывает весьма много бумаги. Это занятие доставляло ему много хороших минут. Несмотря на недоверчивое отношение к себе, он на-

ходил многое из написанного удачным. Настоящий голос призвания слышится в таких строках: «Но если я буду иметь успех?! Дело в том (я это чувствую), что только на этом поприще я буду работать из всех сил, стало быть, успех — вопрос в моих способностях, и вопрос, имеющий для меня значение вопроса жизни и смерти. Вернуться уж я не могу. Как вечному жиду, голос какой-то говорит: «Иди, иди!», так и мне кто-то сует перо в руки и говорит: «Пиши и пиши!».

Строгий к себе, Гаршин уничтожал в большинстве случаев свои первые опыты, и до нас из них дошло очень немногое. В студенческую пору он писал довольно много стихотворений. Их форма довольно слаба, и Гаршин сам почувствовал потом, что стихи — не его дело. В январе 1875 года он пишет, что «музы от него лица не отвратили» и что он до сих пор писал стихи, иногда очень удачные, большею частью скверные. «Теперь бросил. Бросив «поэзию», не брошу прозы».

Когда Гаршин решил попробовать печататься, то ему пришла в голову форма очерков уездной жизни. Материал для этого ему дали наблюдения в Старобельске, где он проводил каникулы. Первый очерк был посвящен изображению земского собрания. Земские собрания Гаршин посещал в августе-сентябре 1875 года и в значительной степени писал с натуры. Свое произведение он понес на суд Суворина. В то время Суворин еще был в либеральном лагере и пользовался популярностью среди передовых людей. Он принял начинающего автора настолько хорошо, что тот остался в восторге. С волнением ожидал он результатов. «Сегодня четверг; до вторника осталось шесть дней», писал он близкой ему девушке. «Как только получу благоприятный ответ, сейчас же извещу вас и матушку. Ну, а если вдруг неблагоприятный?»

Не скрою от вас, что он был бы для меня жестоким ударом».

Суворин посетил автора. Очерк был отправлен в газету «Молва», и редактор известил автора, что он будет напечатан. Гаршин ликовал и строил планы дальнейшей работы в том же направлении. «Я чувствую то же, что чувствовал мой любимый герой Дэви Копперфильд, когда его статья была принята. Теперь уже некогда, а летом завалю «Молву» очерками старобельской жизни... Летом напишу «Историю прогимназии», «Повесть о том, как поссорились Ст. Дм. с А. А.», «Интенсивная культура», «История N обители». План для этих очерков у меня составлен. Старобельск даст обильный материал». Почему-то эти планы остались только планами, — во всяком случае, в печати последующих очерков не появлялось. Литературный первенец Гаршина появился в № 15 «Молвы» за 1876 год под заглавием «Подлинная история Энского земского собрания».

Другие литературные опыты студенческой поры стоят в связи с увлечением Гаршина живописью. Гаршин сблизился в это время с кружком молодых художников и стал частым посетителем их собраний. Некоторые его произведения впервые читались и обсуждались на этих собраниях кружка. В спорах о значении искусства, ведшихся на «пятницах» у художников, Гаршин принимал самое горячее участие, отстаивая идейное искусство. Результатом интереса Гаршина к живописи и живописцам явились три статьи о художественных выставках в газете «Новости» 1877 года.

На Рождество и на каникулы Гаршин уезжал к матери — сначала в Старобельск, а потом в Харьков, куда та переехала в 1876 году для образования младшего

сына. Очень ценны воспоминания об этих приездах Гаршина в провинцию Н. В. де-Л., хорошо знавшей всю семью Гаршиных ¹⁾. «Веселый, жизнерадостный, исполненный какой-то священной бесконечной доброты, трогательной ласки и внимания», — вот каким представляется автору воспоминаний Гаршин-студент. В Старобельске Гаршин принимал участие в жизни целого кружка тамошней молодежи, преимущественно женской. Несколько раз, по его инициативе и при его участии, ставились благотворительные спектакли. Гаршин был душой этих предприятий и радовался, как ребенок, их успеху.

Среди старобельских знакомых Гаршина была некая Раиса Всеволодовна А., красивая девушка с выразительными глазами, производившая привлекательное и нежное впечатление. Она была хорошая музыкантша и по зимам училась музыке в Харькове. Эта девушка стала предметом увлечения Гаршина. Он писал ей из Петербурга, подробно изображая в письмах свою жизнь, открывая ей все свои планы и глубокие душевные настроения. Летом 1876 года между молодыми людьми произошло объяснение. В предисловии к письмам сына мать Гаршина говорит: «Не только для меня, но и ни для кого из нашего кружка не была тайной эта любовь, длившаяся целые годы, и все смотрели на них, как на помолвленных».

Неизвестно — почему, как и когда собственно порвались связи между Гаршиным и Раисой Всеволодовной. Мать Гаршина умалчивает об этом. Сестра Раисы Всеволодовны сообщает: «Уже говорили о них как о женихе и невесте, но, ввиду болезненной наслед-

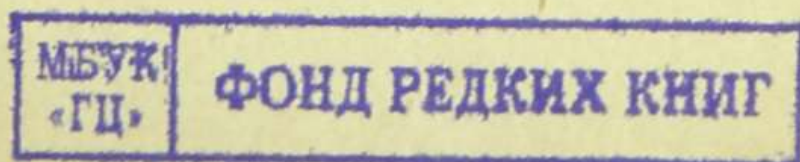
¹⁾ „Русская Мысль“ 1917 г.

76240

ственности в семье Гаршиных, как мать Вс. Мих., так и моя мать старались, по возможности мягко, отвлечь молодых людей от мысли сочетаться браком». Ф. Ф. Фидлер утверждает в своих воспоминаниях, что молодые люди не поженились вследствие советов друзей Гаршина: они убедили его, что брак между писателем и артисткой (Раиса Всеволодовна кончила консерваторию и посвятила себя музыке) не может дать счастья. Позже Раиса Всеволодовна вышла замуж за какого-то врача¹⁾.

Мирное студенческое существование Гаршина было скоро нарушено: его личная жизнь оказалась захваченной европейскими политическими событиями. Весною 1876 года началось восстание сначала герцеговинцев, а потом и сербов против угнетения турок. В различных слоях русской интеллигенции стали проявляться славянские симпатии. Не только славянофильский «Славянский комитет», с И. Аксаковым во главе, энергично собирал пожертвования и снаряжал отряды добровольцев. По вопросу об отношении к войне произошел своеобразный раскол — не по обычной линии политических группировок. Многим либералам такая определенная фигура, как генерал Черняев, ставший во главе добровольческого движения в Сербии, представлялся чуть ли не русским Гарибальди в борьбе за национально-освободительную идею. У других политическая прозорливость не была так помрачена иллюзиями: не говоря уже о революционерах, Тургенев, Салтыков, Лев Толстой более или менее правильно оценивали личность и деятельность бравого генерала. Но и оставляя в стороне Черняева, приходится отметить, что в народническом лагере тоже было разно-

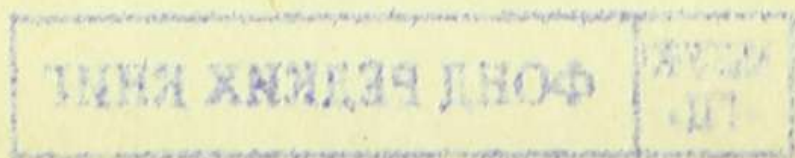
¹⁾ Кстати сказать: свой первый печатный опыт Гаршин подписал Р. А. по инициалам любимой девушки, но вследствие ошибки наборщика в „Молве“ напечатали Р. Л.



гласие: Н. К. Михайловский в начале движения поместил в «Отечественных Записках» патетически написанную статью, в которой все слои русского общества приглашались помогать славянскому делу. Некоторые революционеры ушли добровольцами на Балканский полуостров; такой колосс революции, как А. И. Желябов, собирал вместе с либералами пожертвования. Это кажущееся единение противников скоро окончилось; пришлось убедиться, что война против турок не несет никаких благ для русского освободительного движения.

В связи с такими путаными и двойственными отношениями к войне либералов и радикалов, понятны и настроения Гаршина. С самого начала движения на Балканах он чувствует себя скверно, он выбит из колеи, не может писать и вообще отдаваться обычным интересам. Летом 1876 года он пишет приятелю из Харькова: «За сообщение новостей из профессорского мира весьма благодарен, хотя, по правде сказать, электрофорная машина Теплова и соединение химического и физического обществ интересуют меня гораздо меньше, чем то, что турки перерезали 30.000 безоружных стариков, женщин и ребят. Плевать я хотел на все ваши общества, если они всякими научными теориями никогда не уменьшат вероятностей совершения подобных вещей... Если бы ты знал, каково бывает у меня на душе, особенно со времени объявления войны. Если я не заболею это лето, то это будет чудом».

Окружающие Гаршина видели, как велики его колебания. «Гаршина не поймешь: хочет и не хочет ехать. Говорит: нужно ехать, долг каждого бороться за свободу — и в то же время отрицает войну». Революционер Пресняков, впоследствии казненный, сказал друзьям



Гаршина, чтобы они его не удерживали: «Многие из революционеров собираются туда, а некоторые уже поехали. С этим движением ничего не поделаешь: оно выливается в стихийные формы».

В позже написанном рассказе «Трус» ярко переданы собственные настроения Гаршина в связи с войной. Лицо, от имени которого ведется рассказ, испытывает тягостное чувство полной раздвоенности. Для него, культурного и гуманного человека, война — кровавая бессмыслица, ужасное коллективное убийство. Он — противник войны. Но спокойно оставаться в стороне и продолжать заниматься своим делом он не может. «Нервы, что ли, у меня так устроены, только военные телеграммы, с обозначением числа убитых и раненых, производят на меня действие гораздо более сильное, чем на окружающих». Уже сообщения о «незначительных потерях» заставляют его жестоко страдать.

«Пятьдесят мертвых, сто изувеченных — это незначительная вещь! Отчего же мы так возмущаемся, когда газеты приносят известие о каком-нибудь убийстве, когда жертвами являются несколько человек? Отчего вид пронизанных пулями трупов, лежащих на поле битвы, не поражает нас таким ужасом, как вид внутренности дома, разграбленного убийцей? Отчего катастрофа на тилигульской насыпи, стоившая жизни нескольким десяткам человек, заставила кричать о себе всю Россию, а на аванпостные дела, с «незначительными» потерями, тоже в несколько десятков человек, никто не обращает внимания?» Известия о боях очень кровопролитных, приводят его в состояние, близкое к безумию. «Двенадцать тысяч!.. Эта цифра то носится передо мною в виде знаков, то растягивается бесконечной лентой лежащих рядом трупов. Если их

положить плечо с плечом, составитя дорога в восемь верст... Что же это такое?»

Герою кажется, что эта война — только начало грядущих войн, от которых не уйти ни ему самому, ни маленькому брату, ни грудному сыну его сестры. Скоро настанет его очередь. «Куда же денется твое «я»? Ты всем существом своим протестуешь против войны, а все-таки война заставит тебя взять на плечо ружье, идти умирать и убивать. И никакое развитие, никакое познание себя и мира, никакая духовная свобода не дадут мне жалкой физической свободы — свободы располагать своим телом».

Но дело не только в этой внешней необходимости. Можно было бы и избежать непосредственного участия в войне, — остаться, например, в Петербурге писарем, но этого не позволит сделать внутреннее чувство. «Что-то, не подчиняющееся определению, сидит у меня внутри, обсуждает мое положение и запрещает мне уклоняться от войны». Война есть общее горе, общее страдание, и не участвовать в ней Гаршин считал безнравственным: иначе совесть замучит. Мучительная раздвоенность героя рассказа «Трус» кончается тем, что он отправляется на войну и там очень скоро погибает от шальной пули.

Есть, конечно, заметная разница в настроениях какого-нибудь революционера-народника, принимавшего войну по убеждению, что она в конечном счете будет полезна для русской революции, и Гаршина, у которого преобладали побуждения нравственного характера. Но в широком общем движении всегда неизбежны индивидуальные различия в побуждениях участников такого движения. К сложным настроениям Гаршина относительно войны еще придется вернуться в дальнейшем.

Уже в 1876 году Гаршин порывался поступить добровольцем в сербскую армию под командой Черняева, но все его хлопоты не увенчались успехом: его не пустили, так как он был призывного возраста и должен был, если бы оставил институт, отбывать воинскую повинность в России. Это его, конечно, совсем не привлекало. Но события развивались, — сербские войска были разбиты, в дело вступила Болгария, а потом и официальная Россия сочла нужным вмешаться.

12 апреля 1877 года, когда Гаршин со своим товарищем Афанасьевым готовились к экзамену по химии со II курса на III, им принесли манифест о войне. Записки по химии остались недочитанными: Гаршин с Афанасьевым подали прошение об увольнении из института с тем, чтобы отправиться вольноопределяющимися в действующую армию. Через несколько дней оба друга прибыли в Харьков, пробыли там до 2 мая, и, после тяжелого прощания с близкими, отправились в Кишинев.

4 мая они были уже в Кишиневе. По специальному приказу оба студента были зачислены рядовыми в 138-й Болховской пехотный полк. Через день полк выступил в поход к Дунаю. Весь поход через Румынию и Болгарию Гаршин вынес так хорошо, что сам этому удивлялся. Несмотря на кажущуюся физическую слабость, он оказался очень выносливым и ни разу не сел на походе в фуру для ослабевших. При своем несколько щекотливом положении вольноопределяющегося, т.-е. все-таки «барина» в глазах солдат, он сумел с течением времени своим тактическим поведением, отказом от всяких привилегий, простым и дружественным тоном, всегдашней готовностью к услуге приобрести их расположение. Он внимательно приглядывался к новым своим сотоварищам, и они произвели на него

в массе очень благоприятное впечатление. Офицеры же очень часто возмущали его своим распущенным поведением на войне и отношением к солдатам. Все тягости длинного перехода то под дождем, в холод, то в изнурительный жар, различные походные случаи, образы некоторых сотоварищей изображены впоследствии Гаршиным очень близко к действительности в очерке «Из воспоминаний рядового Иванова».

Внутреннее самочувствие Гаршина во время похода было прекрасное. Во-первых, сильная физическая усталость не давала возможности предаваться мучительным размышлениям, а во-вторых, раз принятое решение снимало тягость раздвоенности. Гаршин как будто радовался, что у него теперь нет своей воли. «Никогда не было во мне такого полного душевного спокойствия, мира с самим собой и кроткого отношения к жизни, как тогда, когда я испытывал эти невзгоды и шел под пули убивать других. Дико и странно может показаться все это, но я пишу одну правду». Даже зрелище раненых и убитых, из которых некоторые были прямо ужасны, мало подействовало на нервы Гаршина и не вывело из душевного равновесия. Гаршина самого поражало то спокойствие, с которым он наблюдал омерзительно разложившиеся трупы. Ему казалось, что если бы он увидел нечто подобное на картине или прочел бы в описании на манер Гюго, то пришел бы в ужас.

Литературные планы не оставляли Гаршина даже и среди трудностей похода. «Если бог приведет вернуться, — пишет он матери 13 мая, — напишу целую книгу. Русский солдат — нечто совершенно необыкновенное. Совершенные дети». Через две недели он сообщает: «Как я ожидал, материалов для наблюдения оказалась бездна. Если бог вынесет, я буду знать, что

делать. В том, что я сумею писать и буду иметь успех, я почти не сомневаюсь».

Гаршину пришлось участвовать в двух делах с турками. Первое дело, при Езерджи, было небольшой схваткой. В другой раз полк Гаршина участвовал в сражении при Аясларе 11 августа 1877 года. Гаршин подвергался здесь большой опасности. Цепь русских отхлынула шагов на 20 назад перед наступавшей колонной турок. Гаршин не заметил этого и остался один. Каким-то чудом турки не подняли его на штыки, — вероятно, не успели добежать, потому что товарищи Гаршина с криком «ура!» бросились на них, и он опять оказался между своими. В этот момент Гаршин был ранен пулей. Придя несколько в себя, он перевязал платком ногу, чтобы удержать льющуюся кровь, и пополз. Ползти пришлось шагов сто, под выстрелами, когда вокруг визжали пули и рвались гранаты. Наконец, его подняли два солдата и понесли.

Рана в ногу на-вылет оказалась неопасной, но излечение ее шло довольно медленно, потому что пуля вырвала порядочный кусок мяса. Гаршина отправили в военный госпиталь в Белу. Лежа там, он написал «Четыре дня». В конце августа он был отправлен вместе с транспортом других раненых в Россию.

Приехавши в Харьков, Гаршин все время жил в квартире своей матери. Пролежать в постели ему пришлось два месяца. В маленькой квартирке Гаршина ежедневно бывала масса народу. Многочисленные посетители являлись расспрашивать о войне, о турках, о том, как они дерутся, и пр. Эти любопытствующие, которым приходилось повторять одно и то же, порядочно надоедали Гаршину. Он отводил душу с тем кружком молодежи, который постоянно наполнял квартиру весельем и смехом. Это были товарищи его млад-

шего брата, девицы из знакомых домов, приезжавшие порой из Петербурга приятели Гаршина и пр. Вся эта молодежь окружала Гаршина трогательным вниманием, студенты-медики перевязывали ему ногу, всякий старался услужить, чем мог. Целые вечера проходили в шутках, смехе и болтовне. Гаршин не мог спокойно лежать в постели и приспособился передвигаться по полу, выдвинув больную ногу вперед. Как раз в эту пору увлечение Гаршина Раисой Всеволодовной сказывалось особенно заметно для всех.

Однако и в эту эпоху, по видимости такую безоблачно-радостную, Гаршин порой чувствовал себя очень скверно. Одна из посетительниц гаршинской семьи вспоминает: «Зачатки грозной болезни, унесшей талант и душу Гаршина, уже начинали сквозить в его жизни отдельными зарницами. Порою Вс. Мих. делался мрачен, порою отстранялся от всех, и только мы, наш юный, беспечно и радостно настроенный кружок, еще отвлекал его от тяжелых мыслей и душевной тоски». Дядя Гаршина, приезжавший в эту пору в Харьков, говорит: «Мы очень с ним подружились и вели продолжительные беседы... но вообще мне грустно было его видеть: блуждающие, какие-то тревожные глаза, лихорадочная торопливость разговора, внезапные припадки раздражительности при малейшем противоречии — все это явно показывало, что малый нехорош».

Немедленно по приезде в Харьков Гаршин стал отдывать свой первый военный рассказ, написанный в болгарском госпитале. С одним знакомым, ехавшим в Петербург, он отправил рукопись в редакцию «Отечественных Записок». Ждать пришлось недолго: недели через две или три «Четыре дня» были напечатаны в октябрьской книге журнала. Рассказ вызвал всеобщий восторг среди русских читателей, вскоре его стали переводить

и на иностранные языки. Имя Гаршина сразу стало известным, и в харьковской фотографии нарасхват раскупались его карточки в виде солдата, в серой шинели.

Как только нога поправилась настолько, что Гаршин мог ходить на костылях, он уехал в Петербург, куда его уже давно тянуло. По службе ему дали годовой отпуск. В Петербурге он возобновил старые связи, посещал художественные выставки, завел знакомства в литературном мире, где его встретили с уважением и симпатией.

Для произведений Гаршина был обеспечен прием всюду: редакции разных журналов просили участия автора. Однако в 1878 году им были напечатаны только «Происшествие» и «Очень коротенький роман». Причина этого выясняется в одном письме Гаршина того времени. «Печататься теперь я буду только в крайнем случае. Пишу, правда, я довольно много, но все это для меня этюды и этюды; выставлять же их я не желаю, хотя уверен, что они шли бы не без успеха».

Немало хлопот доставляло Гаршину его положение военнослужащего. Еще в Харькове, вскоре по приезде из Болгарии, он выражал в письмах твердое намерение уйти из военной службы. Весной 1878 года Гаршин, получив производство в офицеры, несколько не обрадовался этому и писал своему другу и бывшему сослуживцу Афанасьеву: «Хотя я хромаю до сих пор, но вдруг признают здоровым — и отправляйся к вам в Виддин. При моем теперешнем состоянии здоровья (нервы) это мне смерть. Если бы я был способен пьянствовать, я спился бы в Виддине в месяц. Чую это и смотрю на полк, как на гроб». Странно, что одновременно с этим Гаршин пишет другим лицам о своем намерении остаться на военной службе (и даже добиваться академии) с тем, чтобы попытаться благодетельно

воздействовать на военную среду. Такого рода письма, вероятно, результат минутных настроений. Они свидетельствуют, во всяком случае, о колеблющемся состоянии воли у Гаршина.

Отдавшись сначала со всем увлечением культурной жизни Петербурга, Гаршин уже к весне чувствует приступы апатии. Он сообщает другу, что Петербург надоел ему хуже горькой редьки и что он стремится из него убраться. Эта непоседливость, стремление улучшить свое нравственное самочувствие путем перемены места вообще были очень свойственны характеру Гаршина. Уже в половине марта 1878 года он уехал в Харьков.

Хандра сначала не оставляла его и там. В мае, почувствовав себя немного лучше, Гаршин вместе с братом Евгением поехал в Орловскую губернию, в имение тетки, которая никогда не видала племянников и захотела с ними познакомиться. В течение месяца, проведенного в привольном имении, Гаршин был здоров, бодр и с увлечением предавался всяким летним занятиям и удовольствиям.

Осенью 1878 года, приехав в Петербург, Гаршин на некоторое время поступил на испытание в Николаевский военно-сухопутный госпиталь и, наконец, получил отставку. В Петербурге Гаршин, как всегда, усиленно читал, хотя не систематически, разбрасываясь по разным областям. С осени 1878 года у него намечается повышенный интерес к истории. Он даже поступил вольнослушателем на историко-филологический факультет в университете. По этому поводу он писал своему приятелю физику Дрентельну: «А все-таки поступлю в университет. Конечно, биологией заниматься не буду. Что ты ни разговаривай, а с легкой руки Писарева пошедшее мнение о значении естественных

наук я не разделяю». Слушателем в университете, однако, Гаршин пробыл недолго, всего полгода.

Литературная его деятельность в 1878—1879 годах выразилась написанием рассказа «Трус», «Встреча» и «Художники» (все — в «Отечественных Записках»). Литературной работе очень мешали соображения о нецензурности различных тем, являвшихся у автора. В апреле 1879 года он пишет Герду: «Работа донемножку подвигается вперед. Двигалась бы, конечно, и не понемножку, если бы, работая, приходилось думать о том, что писать, а не о том, чего не писать. Иногда просто в мрачность приходишь при мысли: что, если так придется всю жизнь?»

Сгущавшаяся политическая атмосфера больно давала себя знать и Гаршину, чуждому, вообще говоря, политики. Начинались первые террористические попытки, правительство усиленно хватало и бросало в тюрьмы революционеров, открылся ряд крупных политических процессов. В числе пострадавших были и личные знакомые Гаршина. Все это тяжело ложилось на его болезненно-впечатлительную душу.

Весну 1879 года Гаршин опять провел в Харькове в кружке молодежи обоого пола. Под предводительством Всеволода Михайловича, который был неутомимым ходоком и до страсти любил пешеходные прогулки, вся компания ежедневно отправлялась в какую-нибудь экскурсию по живописным окрестностям Харькова. Та же участница (сестра Раисы Всеволодовны), которую мы уже цитировали, рассказывает: «Как было благостно-весело теми светлыми летними вечерами! Серьезные беседы внезапно сменялись беганьем взапуски, игрою в горелки, вознею в стогах сена... Все были влюблены, это у нас называлось «быть в переплете», все ухаживали друг за другом, но как все

это было чисто, невинно-чисто, и трогательно, и наивно, и одухотворенно!» И опять — письма Гаршина показывают, что его неотступно грызла тоска, мучило недовольство жизнью. Как видно, в шумном весельи кружка молодежи Гаршин искал отвлечения от угнетавших его настроений и искусственно показывал преувеличенную веселость.

Интересно отметить, что Гаршин в это время с большим интересом читал научные сочинения по психиатрии и вместе со студентами-медиками V курса посещал психиатрическую харьковскую больницу (Сабурову дачу) и присутствовал при разборе больных. Психиатрия и тогда и позднее казалась ему чрезвычайно увлекательной и много обещающей в будущем наукой.

В своих обычных поисках новой обстановки Гаршин часть лета 1879 года провел в переездах с места на место. Он посетил ряд своих знакомых в Орловской и Екатеринославской губернии, в Донской области. Это дало ему, действительно, некоторое рассеяние.

Но в октябре в Харькове подавленное состояние духа проявилось в нем с небывалой до сих пор силой. Очень ценно подробное описание его состояния, данное в воспоминаниях его друга В. А. Фаусека, жившего эту осень в квартире Гаршиных. Здесь собраны все типичные черты душевного недуга Гаршина. Недуг этот известен в науке под именем циркулярного психоза.

«Он находился в том состоянии неопределенной и мучительной тоски, которое впоследствии находило на него каждое лето и свело его, наконец, в могилу. Делать он ничего не мог; он чувствовал страшную апатию и упадок сил; не только всякая работа была ему мучительно тяжела, всякое проявление воли, всякий поступок казался ему тяжелым, мучительным. Вся-

кое, самое простое действие требовало от него напряжения душевных сил, совершенно непропорционального значению действия и физической работе, с ним сопряженной. Душу его угнетала постоянная тоска. Он изменился и физически: осунулся, голос стал слабым и болезненным, походка вялая; он шел, понутив голову, и, казалось, даже идти было для него неприятным и болезненным трудом. Его мучила бессонница. Целый день он не мог ничего делать, а по ночам лежал до 4-х, до 5-ти часов и не мог заснуть. Он проводил ночи за чтением романов и старых журналов. Чтение, случайное и неправильное, первого, что попадет под руку, было единственное, доступное ему занятие. Ничто не могло доставить ему удовольствия или обрадовать его. Самое ощущение удовольствия стало для него недоступно; все душевные проявления были для него болезненны».

Когда в ноябре Гаршин уехал в Петербург, то угнетающие общественные впечатления дали себя знать с еще большей силой. Борьба революционеров с правительством, казни революционеров создали зимой 1879 года в обществе особенно напряженное состояние. Душевное возбуждение Гаршина дошло до кризиса, приняв типичную для него форму проявления.

12 февраля 1880 года граф Лорис-Меликов был назначен начальником верховной распорядительной комиссии с неограниченными полномочиями. Эта диктатура имела целью подавить «крамолу», т.-е. революционное движение, и успокоить взволнованное буржуазное общество. 20 февраля молодой человек Молодецкий, явившись на прием к Лорис-Меликову, стрелял в него, но совершенно неудачно. Военный суд приговорил его к казни. Это впечатление окончательно вывело Гаршина из душевного равновесия. Он сначала

хотел написать всеильному диктатору письмо с просьбой о помиловании Млодецкого, но потом решил лично поговорить с Лорис-Меликовым. В совершенно неурочное время (по одним известиям — в 3 часа ночи, по другим — в 6 часов утра) Гаршин явился на квартиру тщательно охраняемого диктатора и какими-то путями добился аудиенции. В крайнем возбуждении, с рыданиями, чуть ли не на коленях он старался убедить Лорис-Меликова в необходимости помиловать Млодецкого и вообще выйти на путь примирения и всепрощения. В конце концов, повидимому, Лорис-Меликов, чтобы отделаться от необыкновенного посетителя, дал ему что-то вроде обещания отложить казнь и пересмотреть дело. (Млодецкий в свое время был, конечно, казнен). Диктатор понял, что имеет дело с больным человеком, и поступок Гаршина не имел для него никаких неприятных последствий.

Гл. Успенский видел Гаршина на другой день в обществе писателей, собравшихся по одному деловому вопросу. Ненормально-возбужденное его состояние сразу кидалось в глаза. Он плакал, охрипшим голосом рассказывал, путанно и непонятно, о том, что было с ним накануне, но не мог договорить до конца, потому что постоянно прерывал себя и бегал в кухню пить воду и мочить голову...

Вскоре после этого душевное расстройство Гаршина проявилось уже в самых резких формах. Выехавши из Петербурга — повидимому, он направлялся в Харьков — он по дороге задержался в Москве, вел там странные речи перед обер-полицеймейстером Козловым и совершал совершенно патологические поступки. Тоска и болезнь не давали ему сидеть на месте: из Москвы он съездил в Рыбинск и вернулся обратно; выехал опять в Харьков, но в Туле оставил все вещи в гостинице,

нанял верховую лошадь и отправился в скитания то верхом, то пешком по Тульской и Орловской губерниям. Он жил некоторое время в имении матери критика Писарева, явился потом в Ясную Поляну к Л. Толстому и развивал перед ним какие-то идеи об устройстве всеобщего человеческого счастья. В полушубке и с евангелием он отправился по деревням и обращался к крестьянам с речами на тему о всепрощении и пр. Отправившийся на розыски брат Гаршина, Евгений, привез его, наконец, в Харьков.

В Харькове, в конце марта или начале апреля 1880 года, его видел в течение нескольких дней В. А. Фаусек. По его описанию, «глаза Гаршина горели, как уголья; выражение тайной грусти, обыкновенно светившееся в них, исчезло. Он имел теперь вид человека, уверенного в себе, гордого, довольного, совершенно счастливого». Обращает на себя внимание сходство в самочувствии больного Гаршина с тем, что переживал душевнобольной Коврин в рассказе Чехова «Черный монах». Разговаривать с ним было трудно вследствие его чрезвычайно нервного напряжения, передававшегося и собеседнику. Говорил он без умолку, постоянно перескакивая с одного предмета на другой. На прогулках его желания и намерения беспрестанно менялись. Дома он обыкновенно энергично отдавался какой-нибудь деятельности, но цели этой работы бывали фантастические.

Прожив в Харькове три недели, Гаршин неожиданно исчез оттуда. После новых поисков его нашли в Орле, в доме сумасшедших. Он был настолько буен, что до Харькова его пришлось везти связанным в отдельном купе. В Харькове его поместили в дом умалишенных на Сабуровой даче, куда он приходил за два года до того изучать больных. На всех близких, посе-

щавших его, Гаршин производил невероятно тяжелое впечатление. Он узнавал проходящих, признавал, что он болен, но в то же время вел совершенно бредовые речи. Самая внешность его изменилась. Иногда он упоминал какого-то своего смертельного врага, живущего по соседству, и тогда на лице его появлялось совершенно несвойственное ему выражение дикой злобы. «Общий строй его, тон его разговора, приветствия, которыми от времени до времени он обменивался с другими больными,— все казалось мне диким, странным, непохожим на прежнего Всев. Мих.», говорит Фаусек.

Из харьковской больницы, где условия были очень скверные, Гаршина перевезли в Петербург в знакомую, уже ему лечебницу Фрея. Он там оправился в том смысле, что безумие прошло, но вместо болезненного возбуждения явилось состояние полного упадка сил. Когда его осенью 1880 года привезли в Харьков, то это был какой-то живой труп: всякая душевная деятельность была в нем совершенно подавлена.

В таком виде нашел его проезжавший через Харьков дядя его по матери, Владимир Степ. Акимов. Он решил взять его к себе, надеясь, что пребывание в деревне, в совершенно другой обстановке, будет полезно для больного.

Почти полтора года, с конца 1880 до весны 1882 г., провел Гаршин в деревне дяди Ефимовке, в Херсонском уезде, недалеко от Николаева, на берегу днепровско-бугского лимана. Первые недели Гаршин чувствовал себя очень плохо, и почти не проходило ночи, чтобы он не будил всех внезапными громкими рыданиями. Постепенно состояние его начало меняться к лучшему. План дяди состоял в возможно полном изолировании его от внешнего мира, — письма он получал только от матери, брата и ближайшего друга Фау-

сека, — в усиленном движении и физическом труде и в отсутствии литературной работы. Внимательный уход, крайне дружелюбное отношение родственников, отсутствие резких впечатлений, усиленное движение на свежем воздухе, южная природа, — все это оказало свое действие.

Зимой день начинался катаньем на коньках, в котором Гаршин достиг очень больших успехов. Часть времени он проводил в камере дяди, мирового судьи, писал там протоколы и наблюдал бытовые сцены. Очень любил Гаршин писать письма на родину рабочим из имения дяди, подобно тому, как на военной службе он писал письма солдатам. Уместные его занятия состояли в нетрудном чтении, в занятиях английским языком, в переводах с французского для упражнения. Кое-что из этих переводов было потом напечатано («Колумба» Мериме). Из самостоятельных литературных работ Гаршиным за все время пребывания в Ефимовке был написан только крошечный рассказ «То, чего не было».

Большое мучение доставляли Гаршину в эту пору воспоминания о тех поступках, которые он совершил в больном состоянии. Особенностью его болезни являлось то, что он до мелочей помнил все, сделанное им в припадках безумия. При чрезмерной совестливости Гаршина, сознание сделанного положительно угнетало его. Вот что он писал в одном письме из Ефимовки: «более всего угнетают меня безобразные, мучительные воспоминания последних двух лет. Господи, как извращает человека болезнь! Чего я только не наделал в своем безумстве. Хотя и существует мнение, что человек с больным мозгом неответствен за свои поступки, но я по себе вижу, что оно не так. По крайней мере, то, что называется совестью, мучит меня

ничуть не менее за сделанное во время исступления, как если бы его и вовсе не было».

По мере того, как Гаршин поправлялся, у него просыпался интерес к прежним друзьям, к прежней жизни. То почти растительное существование, которое он вел в деревне, стало тяготить его. Дядя Гаршина с горечью говорит, что обширные письма, которые стали приходить к Гаршину, оказались сильнее доводов о том, что нужно бы еще с год провести в деревне для полного укрепления. В размышлениях о своем будущем устройстве Гаршин исходил из того, что существовать одной литературой ему нельзя, — слишком много волнения доставляло ему писательство. «Писать для меня теперь — значит снова начать старую сказку и через три-четыре года, может быть, снова попасть в больницу душевнобольных. Бог с ней, с литературой, если она доводит до того, что хуже смерти, гораздо хуже, поверь мне. Конечно, я не отказываюсь от нее навсегда; через несколько лет, может быть, и напишу что-нибудь. Но сделать литературу единственным занятием жизни — я решительно отказываюсь». (Письмо к Афанасьеву от 31 декабря 1881 г.) Он приходил даже к мысли поступить опять на военную службу и вел об этом переписку с прежним товарищем офицером.

В мае 1882 г., несмотря на уговоры дяди, Гаршин уехал в Петербург. Первым делом он занялся изданием своих рассказов отдельной книгой. Потом он решил воспользоваться приглашением Тургенева и поехал погостить в его имение Спасское, Орловской губ.

Тургенев с большим сочувствием следил за развитием литературной деятельности Гаршина. Из всех писателей молодого поколения Гаршин возбуждал в Тургеневе наибольшие надежды. Перечтя его рассказы в отдельной книге, Тургенев писал Гаршину: «У вас

есть все признаки настоящего крупного таланта: художнический темперамент, тонкое и верное понимание характерных черт жизни — человеческой и общей, чувство правды и меры — простота и красивость формы — и, как результат всего — оригинальность. Я даже не вижу, какой бы совет вам преподать». Гаршин платил Тургеневу большой симпатией и уважением. Когда Тургенев умер, Гаршин написал стихотворение на его смерть. Его памяти он посвятил свой «Красный цветок».

Начавшаяся болезнь, от которой он уже не поправился, не дала возможности Тургеневу самому приехать в Спасское, но он приглашал Гаршина погостить в Спасском и без него. В тургеневском имении жил тогда поэт Полонский с женой; в их обществе Гаршин с удовольствием провел часть лета. Он написал за это время «Из воспоминаний рядового Иванова», одно из лучших и наиболее спокойных по тону своих произведений.

Вернувшись осенью в Петербург, Гаршин начал искать какого-нибудь занятия для заработка. Несколько месяцев он прослужил в должности помощника управляющего торговой частью Аноповской писчебумажной фабрики (в Гостином дворе). Должность эта, по существу близкая к обязанностям конторщика, требовала много времени и оплачивалась всего 50-ю рублями в месяц. В феврале 1883 г. Гаршину представилась возможность занять лучшее место, — он стал секретарем в канцелярии общего съезда представителей русских железных дорог. Должность эта, на которой Гаршин оставался 4½ года, почти до самой смерти, оплачивалась гораздо лучше, так что с материальной стороны он был более или менее устроен. Напряженная работа требовалась только во время съездов, т.-е. на короткий срок, в остальное же время Гаршин мог приходить в канцелярию часа на 3 в день. С его прямым

начальством и сослуживцами отношения у Гаршина установились хорошие, — в те периоды, когда он плохо себя чувствовал, его работу исполняли другие.

В том же феврале 1883 г. Гаршин женился на Надежде Михайловне Золотиловой, с которой познакомился еще в период пребывания в Николаевском госпитале на испытании. Надежда Михайловна в момент выхода замуж была медицинской студенткой; потом она окончила курс и служила врачом. Это была образованная, умная и энергичная женщина. Для Гаршина имело значение в смысле правильного медицинского присмотра, то, что его жена была врачом. Надежда Михайловна с самоотвержением и преданностью заботилась о своем муже, старалась, по мере возможности, отстранять от него заботы и волнения, а в те периоды, когда он чувствовал себя плохо, она возилась с ним день и ночь, как нянька. Мягкий и нежный в обычное время, Гаршин во время приступов меланхолии становился детски-беспомощен, капризен, раздражителен, и окружающим было с ним трудно. Вся тяжесть ухода за ним легла на жену, и она мужественно несла свою нелегкую обязанность. Детей у Гаршиных не было, так что всю свою заботливость Надежда Михайловна могла сосредоточить на муже. Со своей стороны Гаршин относился к жене с исключительной нежностью и благодарной любовью.

Первый год после женитьбы был одним из лучших промежутков в жизни Гаршина. Приступов хандры весной и летом 1883 г. совсем не было, и письма Гаршина в ту пору дышат бодростью и подчас проникнуты юмором. Через полгода после свадьбы он пишет: «Эти полгода — самые счастливые дни моей жизни; и чувствуется, что так пойдет надолго, если не вмешаются какие-нибудь внешние обстоятельства». И через 11 меся-

цев Гаршин называет свою семейную жизнь «удивительным исключением из матримониальных порядков» и приносит благодарность судьбе.

В течение 1883 г. Гаршиным были написаны «Красный цветок» и «Медведи». Несмотря на хорошее самочувствие, Гаршин не стал плодовитым писателем. Усидчивой, правильной работе отчасти мешал характер Гаршина с его «неистойвой любовью к людской толкотне», по его собственному выражению. Он был непоседлив и всегда отличался склонностью к блужданию; при его общительности много времени уходило на посещение знакомых, на разговоры у себя дома с многочисленными посетителями.

Уже с 1884 г. замечаются опять признаки ухудшения в самочувствии Гаршина. Тем червем, который грыз его теперь, была боязнь нового душевного заболевания. В феврале 1884 г. он говорил об этом Фидлеру. «Он рассказывал о своих наблюдениях над симптомами возникающего недуга, описывал с такими реальными подробностями ощущения страха и резкие переходы от надежды к отчаянию, что я глубоко страдал вместе с ним». Абрамову Гаршин не раз говорил: «Я предпочитал бы страдать самою ужасною болезнью, быть сифилитиком, отличаться крайним уродством, наконец, потерять обе руки, только избавиться бы от этой ужасной боязни сумасшествия».

В конце лета 1884 г. Гаршин принялся за «Надежду Николаевну», и к 1885 году повесть была уже закончена. У него был замысел и более крупного произведения — исторического романа из Петровской эпохи. Мысль о таком романе явилась у него еще в ранней юности и не оставляла его до самой смерти. Чтобы изучить эпоху, он усиленно читал исторические сочинения по XVII и XVIII веку. В январе 1885 г. он пишет одному

знакомому, что «с истинным удовольствием» читает сочинение Шлоссера о XVIII веке. Зимой 1886—1887 г. он особенно много читал по русской истории, и тема о Петре была одной из любимых тем его для разговора.

Кроме творческой работы, у Гаршина в последние годы его жизни была и другого рода литературная деятельность: вместе с А. Я. Гердом он редактировал «Обзор детской литературы», составлявшийся кружком учащихся. Общественной деятельности у Гаршина не было, если не считать его работу по делам комитета Литературного Фонда, членом которого он был.

Подобно другим популярным писателям, Гаршин выступал иногда на публичных чтениях со своими произведениями. По воспоминаниям современников, популярность Гаршина в Петербурге была прямо исключительной, — на него учащаяся молодежь перенесла те симпатии, которыми в конце своей жизни пользовались Тургенев и Достоевский. Перед восторженным приемом, который устраивала молодежь Гаршину на литературных вечерах, бледнеют овации по адресу самых выдающихся артистов.

Правильно чередовались в последние годы Гаршина периоды сравнительно хорошего самочувствия и приступы тоски, делавшие его ни к чему не способным. В марте и апреле 1885 г., чувствуя себя утомленным петербургской жизнью, Гаршин высказывает намерение перебраться куда-нибудь в провинцию — с тем, чтобы пристроиться где-нибудь хотя бы секретарем земской управы.

Летом этого года Гаршин высказывал Малышеву полное неверие в свои силы, в свой талант и даже в свое призвание, жаловался, что талант, «если только он был», он не развивал, а зарыл в землю, что он ничего не знает, всему должен учиться с азбуки...

В сентябре он писал Латкину обширное раздирающее душу письмо. «Мои дела очень плохи... Я сижу дома, ничего не делаю и иногда подвергаюсь припадкам тоски, от которой навзрыд реву по часу... Не для фразы скажу тебе, что часто горько сожалею, что пуля восемь лет тому назад не взяла немного левее. Что это за жизнь: вечный страх, вечный стыд перед близкими людьми, жизнь которым отравляешь... Я никогда так не хотел умереть, как теперь. О самоубийстве я, конечно, не думаю: это была бы последняя подлость. Голова постоянно болит, памяти нет, бессилие и вялость постоянно валят на постель. И надо всем этим мучительный страх сойти с ума и опять испытать весь этот ад».

В апреле 1886 г. Гаршин высказывал надежду, что в этом году он будет свободен от своего беса. «Просто не верится даже, что это лето он оставит меня в покое; однако, пока нет никаких весток с его стороны». Он собирался взять отпуск на лето и поехать в Крым или на Кавказ. Но «бес» явился-таки. Летом Гаршин не мог ходить на службу и проводил время в квартире родных своей жены, в так называемой сухопутной таможне (у Екатерингофа). Исхудавший, обессиленный, пожелтевший, полуодетый, он имел жалкий вид.

К зиме он оправился настолько, что, по свидетельству Я. Абрамова, никогда он не казался таким веселым и полным жизни, как в зиму 1886—1887 г.г. На Пасхе 1887 г. он совершил двухнедельную экскурсию в Крым и имел после нее совсем бодрый вид. В половине июня Гаршин с оживлением строил планы работы над историческим романом, поездки на юг России и даже в Англию. Но болезнь опять захватила его — на этот раз окончательно. С конца июня стала появляться тоска, — и скоро он был весь в ее власти.

В сентябре, когда навестил его Фаусек, он имел обычный свой летний, т.-е. плохой, вид. За обедом он еще несколько развлекался беседой. Но когда после обеда они остались вдвоем с Фаусеком, Гаршин изменился в лице и стал с ужасом и горькими слезами говорить о себе. Он говорил, что погибает: ни к службе, ни к какой другой работе он неспособен, и впереди ему предстоят нищета и сумасшествие. «Я полный банкрот, во всяком смысле, и в материальном, и в нравственном, — говорил он. — Ведь я схожу с ума, понимаешь ты это, я чувствую, я чувствую, что я схожу с ума», твердил он, глядя на меня безумными глазами, с искаженным от ужаса и отчаяния лицом.

Осенью пришлось подать в отставку по службе. О какой-нибудь литературной работе, конечно, нечего было и думать. Вообще за последние годы, начиная с 1885, Гаршиным были написаны только «Сигнал», «Сказание о гордом Аггее» и сказка «Лягушка-путешественница».

Последние месяцы жизни Гаршину пришлось пережить много тяжелого еще и вследствие происшедшего семейного разлада. Об этом упоминает целый ряд лиц в своих воспоминаниях о Гаршине, но очень глухо, не говоря, в чем дело. Это понятно: они писали тогда, когда все эти события были слишком свежи. Но теперь в печати уже выяснена суть этого дела.

В статье В. П. Соколова «Гаршины» («Исторический Вестник» 1916, 4—5) говорится: «Быть может, Екатерина Степановна обнаружила в это время тяжелые стороны своего характера. Она была человек уже пожилой и больной, испытала много несчастий в жизни, в течение многих лет несла всю тяжесть крупных и мелких забот бедной семейной жизни. Матушкой руководило горячее чувство любви к своему Всеволоду, досада,

страдания за него, ревнивое материнское чувство. Едва ли какие-нибудь жены были бы, в ее глазах, достойны ее сыновей, разве какие-нибудь идеальные красавицы из самых высших сфер. У ней вырвалось письмо, которое очень опечалило Вс. Мих.: пришлось ему расстаться с матушкой и с братом, с которыми связывали его чувства с малолетства, чувства глубокого уважения, родства, любви и дружбы».

В свете этого сообщения становится ясным следующее место из рассказа И. Е. Репина. Он встретил Гаршина за неделю до смерти последнего. У него был чрезвычайно страдающий вид. На вопрос Репина, что с ним, Гаршин, захлебываясь от слез, сказал: «Ведь главное, нет, нет, этого даже я в своих мыслях повторить не могу! Как она оскорбила Надежду Михайловну! О, да вы еще не знаете и никогда не узнаете... Ведь она прокляла меня!» Следует обратить внимание на следующие строки из предисловия Е. С. Гаршиной к письмам ее сына: «В мае 1878 г. его за отличие произвели в офицеры. Пока все еще шло хорошо; он был весел и работал. Но осенью в Петербурге либеральные друзья уговорили его лечь в госпиталь и добиваться отставки. Тогда еще в Николаевском госпитале слушали лекции медицинские студентки... Не буду распространяться... Медицинской студенткой была Н. М. Золотилова, и с ней познакомился в госпитале Гаршин. Многозначительно обрывая здесь свои слова, Е. С. Гаршина дает понять, что корнем несчастий сына была его женитьба. Мы уже приводили отзывы лиц, знавших обоих Гаршиных, не позволяющие принять эту слишком субъективную, проникнутую личной горечью точку зрения матери.

Трудно сказать, послужила ли эта семейная драма причиной последнего приступа тоски у В. М. Гаршина.

Скорее — нет. Ведь и без всяких особенных причин приступы эти повторялись у него с периодической правильностью. Во всяком случае, в начале лета 1887 г. начавшаяся семейная история не лишила Гаршина бодрости. Вот что находим мы в воспоминаниях художника Малышева: «Начало лета 1887 г. (май и июнь) он был здоров и бодр и, приехав ко мне на дачу, он, рассказывая мне об одном чрезвычайно неприятном семейном деле, радовался, что оно, несмотря на всю свою серьезность, не вызывало прежних припадков хандры, тогда как раньше малейшего пустого повода было достаточно, чтобы вызвать полный упадок духа». «Обыкновенный срок моего заболевания уже прошел и, несмотря на это ужасное, отвратительное письмо и на прочие гадости я здоров», говорил Гаршин.

Наступление осени с холодами не принесло в 1887 г. облегчения Гаршину, как это обыкновенно бывало раньше. Жизнь его шла мучительно. Общество людей несколько развлекало его, он начинал разговаривать с приходившими знакомыми, оживлялся, но как только оставался один, тоска опять охватывала его.

В марте 1888 г. ему вдруг стало несколько лучше. Как-то в начале марта он пришел рано утром к Фаусеку с очень возбужденным видом, с тем, чтобы сообщить ему важную новость: в России появился новый первоклассный писатель. Такое сильное впечатление произвела на него только что прочитанная им «Степь» Чехова.* Через день у Гаршина собралось несколько знакомых, и он с наслаждением читал им вслух «Степь».

Почувствовав улучшение, Гаршин стал собираться на Кавказ: его друзья Ярошенко давно уже приглашали его поехать в Кисловодск и жить там на их даче. Но через несколько дней болезнь стала быстро разви-

ваться. Гаршин поехал посоветоваться к д-ру Фрею. Фрей уговаривал его немедленно уехать.

Накануне назначенного к отъезду дня, 19 марта на рассвете, после ужасной бессонной ночи, в припадке тоски, Гаршин оделся и, без шубы и шапки, вышел на лестницу. Квартира была в третьем этаже. Гаршин сошел этажом ниже и бросился с лестницы.

Ф. Фидлер сообщает подробности этого случая в том виде, как передал их А. Я. Герду сам Гаршин, бывший в сознании еще несколько часов. «Вдруг я просыпаюсь и чувствую, что невидимая всемогущая сила велит мне встать и идти на лестницу. Я шел, как во сне, и спустился этажом ниже. Тут меня непреодолимо потянуло через перила. Я перелез их, повис, держась руками за железные прутья, и хотел уже сброситься, как мне стало совершенно ясно, что я делаю не то, что следует. Но силы меня оставили, и я грохнулся вниз. О, как мне стыдно! Все теперь скажут, что я покушался на самоубийство. Какой стыд! Какой стыд!» Очевидно, следует говорить не о самоубийстве Гаршина, а о безумном поступке, вызвавшем его смерть.

В пролете под лестницей стояла четырехугольная печь. На этой печи и нашли Гаршина. При падении он получил перелом ноги и сотрясение мозга. Те часы, которые он провел в сознании, он глубоко страдал нравственно и упрекал себя за свой поступок. «Неужели? неужели?» повторял он, глядя на свои изувеченные ноги. На вопрос приехавшего Герда, больно ли ему, он ответил: «Что значит эта боль в сравнении с тем, что здесь!» — и он указал на сердце. Когда физическая боль усилилась, он повторил: «Так мне и нужно, так мне и нужно».

Его перевезли в больницу. Там он впал в бессознательное состояние. Он производил впечатление чело-

века, спящего крепким и спокойным сном. Из этого бессознательного состояния Гаршин не выходил до самой смерти, последовавшей 24 марта 1888 года.

Похоронили Гаршина 26 марта на Волковом кладбище. В похоронах участвовало несколько тысяч человек, особенно много было молодежи. На гроб было возложено около 20 венков. Среди цветов в изобилии мелькал красный мак. На могиле речи и стихотворения говорили проф. Сергеевич, Баранцевич, Ясинский, Минский, Леман, Дрожжин и Горбунов-Посадов.

Говорившие на могиле, как и писавшие о Гаршине, помимо значения его произведений, много внимания уделяли его исключительной личности. О произведениях Гаршина высказывались в критике и современной писателю, и посмертной мнения довольно разнообразные, подчас противоречивые. Но никакого разногласия нет в отзывах о Гаршине как о человеке: тут буквально все сходится в высокой оценке нравственной личности писателя. Гаршин производил на всех, знавших его, обаятельное впечатление.

Уже самая наружность его с первого раза привлекала внимание. Существующие портреты не передают в достаточной степени самого главного в гаршинском лице, потому что обаятельность его заключалась прежде всего в выражении глаз. Из многочисленных описаний внешности Гаршина остановимся на некоторых. «Что-то неотразимо притягательное, полное обаяния и редкой выразительности было в этом лице», говорит Быков. «Большие чудные глаза струили лучистый свет, нет, не свет палящего солнца, а кроткое мерцание голубой звезды. Светло-карие, опущенные длинными ресницами, они порой загорались задушевной лаской, порой затмевались тихой печалью, отражали долгую вдумчивость и как будто устремлялись куда-то далеко, далеко».

О необыкновенно красивых глазах его говорит и Тыркова. «В широком взгляде прекрасных глаз, темневших из-под излома бровей, чуть приподнятых к переносью, было такое напряженное, неустанное горенье, что нельзя было встретиться с этим взглядом и не испытать острого ответного волнения. Чего-то требовал, и звал, и настаивал, и добивался этот взгляд. И будил тревогу, точно безмолвное напоминанье о том, что надо сделать, за что отвечать». И, наконец, вот что отмечает Н. Русанов. «Карие, искристые и вдумчивые глаза, которые оставались печальными даже в то время, когда он смеялся; нервно подергивающиеся губы; торопливые движения; голос, западавший глубоко в сердце своей необычайной интонацией, своим певучим переходом от высоких нот к низким, своей странной, я бы сказал гармонической надтреснутостью, которая порою производила впечатление рыданий».

Мягкость, нежность, кротость — вот те черты характера Гаршина, которые всеми знавшими его выдвигаются на первый план. Доброта его доходила подчас до таких крайностей, что близких людей брала даже досада. Чувств злобы и мести он был совершенно лишен. Известный писатель А. И. Эртель так характеризует Гаршина: «Относясь ко всему поруганному и обиженному с чувством страстной и, я решаюсь сказать, почти болезненной жалости, с жгучей болью воспринимая впечатление от злых и жестоких дел, он не мог успокаивать эти впечатления и эту жалость взрывами злобы и негодования или чувством удовлетворенной мести, ибо ни на «взрывы», ни на «чувство мести» не был способен. Вдумываясь в причины зла, он приходил только к тому, что месть не излечит его, злоба не обезоружит, и жестокие впечатления глубоко, незаживающими ранами, залегали в его душе».

Глубокое благородство души Гаршина чувствовалось сразу каждым, кто имел с ним дело; во всей его личности был оттенок трогательной грусти и поэзии. В душевном его облике было много изящества, — но силы и энергии явно недоставало. «Женственность» — вот то слово, которое часто приходит в голову, когда характеризуют Гаршина. Маленькая характерная подробность: Гаршин, склонный вообще к разного рода ручным работам, в частности очень любил иногда заниматься женскими рукоделиями. И способ, которым он реагировал на жизненные невзгоды, тоже чисто женский: он так часто и так много плакал в своей жизни — и не только в периоды полного духовного упадка.

Человеку великого душевного здоровья, Гёте, однажды рассказали про какого-то мальчика, который не мог забыть совершенной им маленькой провинности. «Мне это не понравилось, — сказал Гёте, — ибо это показывает слишком чувствительную совесть, которая так высоко чтит свое моральное «я», что не желает ему ничего простить. Такая совесть делает людей ипохондриками, если только не уравновесит ее усиленной деятельностью». Вот таким человеком со слишком чувствительной совестью и был Гаршин, — и если не ипохондрия, то меланхолия развилась у него и захватила его в свою власть. Это было тем хуже для него, — но все знавшие его не могли не любоваться духовной красотой его личности. В произведениях Гаршина личность его отразилась в полной мере.

II

Всеволод Гаршин происходил из старинной дворянской семьи, — но в психологии его трудно отыскать типично-дворянские классовые черты. Оно и понятно: для выработки той или иной психологии важна не официальная принадлежность к определенной группе, классу и сословию, не паспортная отметка, а жизненная обстановка, связанность с определенным бытовым укладом. Гаршин жил в эпоху начавшегося «оскудения» дворянства, когда многие представители дворянского сословия, не могшие приспособиться к новым условиям помещичьего хозяйства, поневоле расставались со своими имениями и входили в иной, не дворянский быт. За исключением раннего детства, жизнь Гаршина проходила в городах, в бедной, почти спартанской обстановке. Он вырос в семье, где немолодая уже мать и едва подросток сыновья бегают по урокам из-за куска хлеба, где по необходимости мирятся с неудобством брать в тесную квартиру нахлебников. Это — обстановка не дворянской, а мелко-буржуазной интеллигентской семьи.

И творчество Гаршина приходится рассматривать в связи с настроением «разночинной», а не дворянской интеллигенции. Связь писателя с усадебной обстановкой, с основами помещичьего быта была настолько порвана, что в произведениях своих он совершенно не дает картин из деревенской жизни — как помещичьей, так и крестьянской. Единственное исключение — это

воспоминания героя «Ночи» о своем детстве в деревне, т.-е. собственные воспоминания Гаршина. В большинстве рассказов Гаршина местом действия является Петербург. Тот общественный слой, который интересует Гаршина прежде всего, это — не усадебное дворянство, а мелко-буржуазная интеллигенция, живущая продажей своего умственного труда. Художники, студенты, учителя, журналисты — вот действующие лица в произведениях Гаршина.

С того момента, как Гаршин выступил в «Отечественных записках» с рассказом «Четыре дня», радикальная интеллигентная молодежь признала его как «своего» писателя, уловившего в своем творчестве какую-то глубокую сущность ее переживаний. Такое отношение к Гаршину осталось и впоследствии, — исключительно восторженный прием, какой встречал Гаршин со стороны молодежи при своих публичных выступлениях, доказывает это. Хотя Гаршин стоял в стороне от активной политической деятельности, однако он, благодаря своей чуткости, впитал в себя то, над чем работала умом и мучилась сердцем интеллигенция его эпохи, и эти запросы времени облек в художественную форму. Нет другого писателя-художника — за исключением разве только Глеба Успенского — чье творчество было бы более показательным для переходной эпохи конца 70-х и 80-х годов.

В своем развитии Гаршин подвергался тем же воздействиям, как и другие его сверстники. По словам брата, он еще гимназистом 7-го класса зачитывался «Азбукой социальных наук» Флеровского — книгой, много способствовавшей развитию радикальных идей у читателей 60-х и 70-х годов. Будучи студентом, он совместно с товарищем читал «Исторические письма» Лаврова, настольную книгу народников 70-х годов, развивавшую идеи о «критически мыслящей личности»,

о высоком героизме самопожертвования. Первые литературные опыты Гаршина, писанные им для себя, несут отпечаток передовых идей времени. Стихотворения его, написанные в студенческую пору, проникнуты гражданскими настроениями. 19-го февраля 1876 года он пишет стихотворение по поводу 15-летия со дня освобождения крестьян. Вот вторая его половина:

Свершилось! Ржавые оковы с звоном
Упали на землю. Свободны руки!
Но раны трехсотлетние остались,
Натертые железом кандалов.
Изогнута спина безмерным гнетом,
Иссечена безжалостным кнутом,
Разбито сердце, голова в тумане
Невежества; работа из-под палки
Оставила тяжелые следы,
И, как больной опасною болезнью,
Стал тихо выздоравливать народ.
О, ранами покрытый богатырь!
Спеши, вставай, беда настанет скоро!
Она пришла!.. Бесстыдная толпа
Не дремлет; скоро вьются сети,
Опутано израненное тело,
И прежние мученья начались!

В очень слабой художественной форме, это — ответ на некрасовский вопрос: «Народ освобожден — но счастлив ли народ?».

Еще за полгода до этих стихов, проникнутых народническим настроением, Гаршин написал в альбом любимой девушке нечто вроде стихотворения в прозе. Здесь, наряду с сочувствием к «великому и несчастному народу», уже слышится печаль от собственного неверия, и все произведение оканчивается глубоко пессимистической нотой. Приводим заключительную часть.

«Это был великий и несчастный народ, среди которого он родился и вырос. И друзья его (героя), люди, желавшие добра народу, надеялись спасти его от тьмы и рабства и вывести на путь свободы. Они звали к себе

на помощь и своего друга, но он не верил их надеждам, он думал о вечном страдании, вечном рабстве, вечной тьме, в которой его народ осужден жить... И это был его камень; он давил его сердце, и сердце не выдержало, — он умер.

«Его друзья схоронили его в цветущей родной степи. И солнце обливало своим мягким сиянием всю степь и его могилу, степные травы качали над могилой своими цветущими головками, и жаворонок пел над нею песню воскрешения, блаженства и свободы... И если бы бедный человек услышал песню жаворонка, он поверил бы ей, но он не мог слышать, потому что от него остался только скелет с вечною и страшною улыбкою на костяном лице».

Вступление Гаршина в сознательный возраст совпало с моментом русско-турецкой войны. Эта война дала ему, как и всему его поколению, сильные общественные впечатления. Для Гаршина подготовительные настроения создавались еще в 1874 г. тягостными размышлениями по поводу военных картин Верещагина. О выставке картин Верещагина юный Гаршин написал стихотворение. На этих картинах он

Увидел смерть, услышал вопль людей,
Измученных убийством, тьмой лишений...
Не люди то, а только тени
Отверженников родины своей.
Ты продала их, мать! В глухой степи — одни,
Без хлеба, без глотка воды гнилой,
Изранены врагами — все они
Готовы пасть, пожертвовать собой,
Готовы биться до последней капли крови
За родину, лишившую любви,
Пославшую на смерть своих сынов.

Через немного лет вопрос об участии в войне стал для Гаршина личным делом. Война, прямо или косвенно, дала Гаршину темы для пяти его произведений: «Четыре дня», «Из воспоминаний рядового Иванова»,

«Трус», «Денщик и офицер» и «Очень коротенький роман» (не считая очерка «Аясларское дело», дающего точное описание сражения).

О рассказе «Трус» мы уже отчасти говорили в связи с личной биографией Гаршина. Суть рассказа — в изображении того двойственного настроения, которое вызвала война в интеллигенции. В рассказе изображена группа интеллигентной молодежи: сам герой, брат и сестра Львовы и студент Кузьма. Война разбила их мирное и осмысленное существование. Студент-медик Львов, не доучившись, как следует, едет врачом на войну. Туда же добровольно отправляется и его сестра в качестве сестры милосердия. «Трус» (название неподходящее: его назвала так какая-то пустая особа за выраженное им отвращение к войне) идет солдатом и гибнет от пули. Не попал на войну один только Кузьма — и то лишь потому, что бессмысленная смерть от случайно развившейся гангрены унесла его раньше. Протест против войны, как нелепого и жестокого явления, выражен в рассказе очень ярко. «В этом страшном деле я помню и вижу только одно, — гору трупов, служащую пьедесталом великим делам, которые занесутся на страницы истории. Может быть, это необходимо — я не берусь судить, да и не могу; я не рассуждаю о войне и отношусь к ней с непосредственным чувством, возмущаемым массою пролитой крови. Бык, на глазах которого убивают подобных ему быков, чувствует, вероятно, что-нибудь похожее... Он не понимает, чему его смерть послужит, и только с ужасом смотрит выкатившимися глазами на кровь и ревет отчаянным, надрывающим душу голосом».

Сознание развитого человека не может примириться и с тем, что в этом массовом движении его личность исчезает, стирается. «Ты идешь с тысячами тебе подоб-

ных на край света, потому что истории понадобились твои физические силы. Об умственных — забудь: они никому не нужны. Что до того, что многие годы ты воспитывал их, готовился куда-то применить их? Огромному неведомому тебе организму, которого ты составляешь ничтожную часть, захотелось отрезать тебя и бросить. И что можешь сделать против такого нежелания ты,

Ты — палец от ноги?..

Самые страдания приятеля его Кузьмы, умирающего от гангрены, связываются с тем же вопросом о войне. Болезнь и страдания одного человека — мука и тоска. Но ведь Кузьма — один человек, т.-е. одна только единица в тех сотнях и тысячах и десятках тысяч, о которых сообщают военные репортажи. Какую же общую сумму страданий и мук представляет из себя война?

И, несмотря на такое отношение к войне, герой рассказа все-таки отправляется на войну. Не может не отправиться — нравственное чувство не позволяет уклониться от своей доли в общем бедствии. Но, исполняя это веление долга, он не испытывает никакого подъема духа, энтузиазма.

Лично у Гаршина было еще одно психологическое побуждение идти на войну, не затронутое в рассказе. Для Гаршина имело большое значение, что солдаты в массе своей это — те же крестьяне, временно переодетые в солдатскую форму и поставленные в военные условия. Его добровольное участие в войне в сильной степени вызывалось стремлением отказаться от привилегированного положения, «отдать долг народу», слиться воедино с народной массой. С некоторым видоизменением, это было своего рода «хождение в народ», вроде того, какое практиковалось интеллигенцией начала 70-х годов.

В рассказе «Трус» запечатлены интеллигентские переживания в связи с вопросом о личном участии в войне. Рассказ «Из воспоминаний рядового Иванова» изображает то, что пережил Гаршин на войне. И здесь, как всюду у Гаршина, на первом месте психологический момент. Мы видим в рассказе прежде всего яркое, художественно убедительное изображение того чувства стихийной захваченности событиями, которое обычно переживается на войне. Личность с ее стремлениями, убеждениями и пр. тонет в массе, маленькую частицу которой она составляет. «Нас влекла неведомая, тайная сила: нет силы большей в человеческой жизни. Каждый отдельно ушел бы домой, но вся масса шла, повинувась не дисциплине, не сознанию правоты дела, не чувству ненависти к неизвестному врагу, не страху наказания, а тому неведомому и бессознательному, что долго еще будет водить человечество на кровавую бойню — самую крупную причину всевозможных людских бед и страданий». Это слияние отдельной личности с общим потоком, приобщение жизни масс, в конечном счете, было отрадно Гаршину, — снималась тягота личной ответственности.

Рассказ «Из воспоминаний рядового Иванова» (если эту вещь можно назвать рассказом) — наиболее спокойное по тону произведение Гаршина. Как будто бы то состояние некоторой нравственной умиротворенности, которое переживал Гаршин в походе, снова овладело им через ряд лет, когда он стал описывать то время. Просто и любовно изображены Гаршиным типы его товарищей солдат, понемногу привыкающих к «барину» и начинающих обращаться с ним запросто; живо обрисовано двойственное положение между солдатами и офицерами интеллигентного вольноопределяющегося; дан ряд изображений офицеров — простоватой армей-

щины — вплоть до бравого генерала «Молодчаги», по прозвищу солдат. Рассказ согрет подчас теплым юмором. Общий примирительный тон слышится даже в изображении капитана Венцеля. Он культурнее других офицеров, читает с увлечением немецких поэтов, но в обращении с солдатами — это настоящий человек-зверь, холодно-жестокий. Но во время боя он проявляет достойное уважения мужество, а после боя рыдает, как женщина, о том, что из его роты выбыло 52 человека. Этим психологическим парадоксом и кончается рассказ.

На первом месте среди военных рассказов Гаршина следует поставить знаменитые «Четыре дня». Происхождение этого рассказа таково. — После стычки при Езерджи, в которой участвовал Гаршин, были посланы люди для уборки трупов. В кустах они неожиданно нашли живого русского солдата с перебитыми ногами. Он пролежал четыре дня без пищи и воды. Гаршин воспользовался этим действительным случаем и изображенному им раненому вложил свои собственные мысли и чувства по поводу войны. В рассказе произведен своего рода художественный эксперимент: Гаршин никого не убил на войне и не был забыт на поле сражения, но он ярко представил себе, что переживал бы он сам в подобном случае.

Изображенный Гаршиным раненый — интеллигентный человек, пошедший на войну по идейным побуждениям. В сражении он убил штыком турка и сам был ранен. Придя в себя, он понял, что его забыли. Четыре дня он мучился физически и нравственно в соседстве с трупом, пока его нашли. Вот и все содержание рассказа. Тут нет картин военных действий, внешней обстановки войны, — только безучастная природа вокруг, синее небо над головой, смена дня и ночи

и размышления несчастного раненого, ожидающего смерти. В этих размышлениях обнажена самая суть войны и показана в неприкрашенном виде.

Мысль раненого направляется в сторону его ужасного соседа. «Передо мною лежит убитый мною человек. За что я его убил? Он лежит здесь мертвый, окровавленный. Зачем судьба пригнала его сюда? Кто он? Быть может, у него, как и у меня, есть старая мать. Долго она будет по вечерам сидеть у дверей своей убогой мазанки да поглядывать на далекий север: не идет ли ее ненаглядный сын, ее работник и кормилец?

«Штык вошел ему прямо в сердце... Вот на мундире большая черная дыра, вокруг нее кровь. Это сделал я».

Бессмыслица войны в изображении Гаршина видна в том, что в совершаемых преступлениях нет виновных. Бедный турок ничем не виноват: его, вместе с другими, пригнали на войну, как скотину, и там убили. Но и убийца его совершил свое деяние как бы против воли.

«Я не хотел этого. Я не хотел зла никому, когда шел драться. Мысль о том, что и мне придется убивать людей, как-то уходила от меня. Я представлял себе только, как я буду подставлять свою грудь под пули. И я пошел и подставил»...

«Я не могу не думать о нем. Неужели я бросил все милое, дорогое, шел сюда тысячеверстным походом, голодал, холодал, мучился от зноя; неужели, наконец, я лежу теперь в этих муках только ради того, чтобы этот несчастный перестал жить? А ведь разве я сделал что-нибудь полезное для военных целей, кроме этого убийства?

«Убийство, убийца... И кто же? Я!»

Война не только жестокость, но и мерзость. Ветерком на раненого наносит зловоние от трупа. Отползти подалее с перебитыми ногами он не в состоянии и принужден наблюдать день за днем весь ужас разложения.

«Сосед в этот день сделался страшнее всякого описания. Раз, когда я открыл глаза, чтобы взглянуть на него, я ужаснулся. Лица у него уже не было. Оно сползло с костей. Страшная костяная улыбка, вечная улыбка показалась мне такой отвратительной, такой ужасной, как никогда... Этот скелет в мундире с светлыми пуговицами привел меня в содрогание. «Это война, — подумал я, — вот ее изображение».

В русской литературе о войне «Четыре дня» должны быть поставлены на одно из первых мест по уменью автора свести такое сложное и многообразное явление, как война, к ее простейшим элементам, совершенно отрезавшись от ее парадной и эффектно-опьяняющей стороны.

Впечатлениями войны со всеми ее последствиями навеян и «Очень коротенький роман» — рассказ крохотных размеров, напечатанный Гаршиным под характерным для него псевдонимом «L'homme qui pleure» («Человек, который плачет» — перефразировка заглавия известного романа Гюго: «Человек, который смеется»). Изображенный здесь неудачник — своеобразная жертва войны, которая разрушила его надежды на маленькое личное счастье. Любимая им девушка сказала ему: «Честные люди делом подтверждают свои слова. Вы были за войну: вы должны драться». Он поехал на войну, получив от Маши слово, что по возвращении она будет его женой. С войны он возвращается на деревяшке вместо одной ноги. Маша почему-то не отвечает на его письма. Отправившись к ней, он узнает,

что она выходит замуж. Герой мужественно несет на ее свадьбе обязанности шафера, решивши не мешать чужому счастью. Обо всем этом он тягостно размышляет, бродя декабрьскими ночами по набережной и слушая звон курантов: «Динь-дам! Динь-дам!». Куранты бьют четыре часа. Пора идти домой, броситься на одинокую холодную постель и уснуть».

У Гаршина был план создать большое произведение на тему «Люди и война», где общий вопрос о значении войны в современной жизни был бы освещен с возможной полнотой. Написана была только первая глава «Денщик и офицер». Это — кусочек военного быта в мирное время. Простой трудолюбивый крестьянский парень, бывший опорой семьи, недавно женившийся, взят на военную службу. По непонятливости к фронтовой службе и «словесности», Никита попадает в денщики — и тянется год за годом бессмысленное существование в условиях почти полного ничегонеделания и угождения офицеру. Такое же праздное и бессмысленное существование ведет и офицер.

Выше было отмечено, что для Гаршина одним из важнейших побуждений идти на войну было стремление разделить с народной массой ее испытания в трудный исторический момент. В этом связь его с идеологией эпохи. Но характер народничества Гаршина требует пояснения. В 70-е годы мелко-буржуазная революционная интеллигенция стремилась найти точки соприкосновения с народной, т.-е. прежде всего крестьянской массой. В начале 70-х годов господствовала вера в то, что заветные стремления интеллигенции найдут отклик в крестьянстве, что крестьянство окажется восприимчивым к идее социалистического переустройства. Этой верой было одушевлено первое поколение народников-семидесятников, совершавшее «хождение

в народ». Действительность показала, что народ совсем не таков, каким он рисовался в упованиях революционной интеллигенции. Вера в мужика была поколеблена.

Гаршин начал жить сознательной жизнью в те годы, когда горячая вера в народ стала идти на убыль. Знамя оставалось прежнее, но прежнего одушевления не было. Стали появляться «неверующие народники», по определению известного историка литературы Евг. Соловьева. Они пытались жить уходящими настроениями изжитой эпохи. Сохранялась жгучая жалость к обездоленным, но вместе с этим увеличивалось сознание своего бессилия помочь. Страстно хотелось верить попрежнему, но вера все больше ускользала.

К этой группе теряющих или потерявших веру народников принадлежит и Гаршин. Участие в войне было для него до известной степени выводом из народнического мирозерцания, «отдачей долга народу». Но, соприкоснувшись непосредственно на войне с народной массой, принявшей солдатское обличье, Гаршин не испытал прилива народнической веры. Он питал к солдатской массе самые благожелательные чувства, личные отношения его с солдатами наладились хорошо, но восторженного преклонения перед народом, мистической веры в особенные свойства крестьянской души Гаршин не обнаружил. В «Войне и Мире» Л. Толстого дворянин Пьер Безухов, попав в плен к французам, испытал нравственное обновление от соприкосновения с массой, и Платон Каратаев стал для него символом лучших национальных и человеческих свойств. Ничего подобного не пережил Гаршин. Крестьянство, как таковое, в творчестве его совершенно отсутствует. Фигура Никиты из «Денщика и офицера» с народниче-

скими представлениями о мужике, конечно, не имеет ничего общего. В рассказе «Художники» живописец Дедов говорит: «По-моему, вся эта мужицкая полоса в искусстве — чистое уродство». По ходу рассказа и по всему, что нам известно о Гаршине, видно, что он не разделяет этого мнения. Он очень сочувствовал этой «мужицкой полосе», но сам лично он в нее ничего не внес.

Внешняя война была одним из сильных впечатлений молодости Гаршина. Другой ряд важных общественных переживаний дала ему «внутренняя война» — революционное движение в различных его стадиях.

Гаршин никогда не был активным революционером. Уже во время военной службы он проявляет весьма критическое отношение к революционным планам социалистов. 29-го июля 1877 года он пишет из похода матери: «Сколько нового узнал я, как изменилось мое отношение к различным предметам! Относительно «красноты» я пошел еще дальше в прежнем направлении. Я ясно сознаю теперь громадность мира, с которым пытается бороться кучка людей. И этот мир ее знать не хочет! И, быть может, только сама кучка да родственники и знакомые ее членов, да административный контингент, назначенный для ее обуздания, знают об ее существовании». Эта «кучка людей», не имеющая никаких корней в русской жизни, конечно, революционеры. В 1880 году Гаршин горячо доказывает Герду, что все общественные болезни происходят от одной и той же причины — от неудовлетворенной потребности. «Все болезни, решительно все, и «социализм» в том числе, и гнет в том числе, и кровавый бунт вроде пугачевщины в том числе». Здесь социализм, как видим, относится к числу «болезней» общественного развития, т.-е. представляется явлением ненормальным.

Стать социалистом и революционером Гаршину мешали как присущий ему скептицизм, так и отрицательное отношение его к насилию, без которого невозможна революционная борьба. От этого отвращения к насилию он не мог никогда отказаться, хотя теоретически в историческом прошлом народа признавал его неизбежность, как средства самозащиты. С этой же меркой подходил он и к героическим деяниям партии Народной Воли, сосредоточившей свои усилия на терроре. Мать Гаршина говорит: «По своей редкой доброте, честности, справедливости он не мог пристать ни к какой стороне и глубоко страдал за тех и других. Но когда пошло насилие, убийства, покушения, взрыв Зимнего дворца, казни, — его бедная голова не выдержала». Л. Пантелеев так характеризует общественное миросозерцание Гаршина: «Гаршин глубоко страдал от нестроения нашей жизни, как страдал бы в любой стране с самыми совершенными формами общественности. Но ни приемы борьбы, с одной стороны, ни самозащита, с другой, не казались ему способными решить проблему гармонизации общественных отношений». Еще одно свидетельство: «По своим убеждениям он был народник-идеалист, высоко ставивший моральную сущность человека. Вот эта-то мораль, при его психической неуравновешенности, создавала для него гамлетовское «быть или не быть». Идеал чист и высок, а средства достижения его нередко не укладывались в рамки моральных требований».

Не с такой больной совестью, как у Гаршина, было принимать насилие. Мы видели: двойник Гаршина, рядовой из «Четырех дней», не может простить себе даже такого насилия, которое совершено им в виде самозащиты. И художнику Лопатину («Надежда Николаевна») совесть не позволяет оправдать себя в убийстве

человека, который только что застрелил любимую им девушку и ранил самого Лопатина. Убийство не только человека, но даже зверя органически неприемлемо для Гаршина. В маленьком рассказе «Медведи», написанном по воспоминаниям детства, он трогательно изображает участь ручных медведей, подвергнутых массовому расстрелу. Из биографии его известен случай, когда он отгородил палочками часть дорожки в саду, чтобы проходящие не растоптали каких-то букашек, в массе там проползавших.

Из человека, с таким складом моралиста, убежденного в безусловном значении нравственных норм, и с такой безграничной жалостливостью не могло выйти революционера. Если летом 1880 года Гаршин писал Русанову, что он теперь не видит иного исхода для России, как в кровавой революции, что он сам идет в народ готовить восстание, — то это было написано «дрожащим, галопирующим на бумаге почерком», в полном душевном расстройстве, накануне заключения в сумасшедший дом.

Не будучи сам способен к революционной деятельности, Гаршин отдавал должную дань уважения бесстрашному мужеству и самоотвержению революционеров. По словам И. Попова, он с восторгом говорил о народовольцах. «Мне хотелось бы, — говорил он, — воплотить этих людей в художественные образы, но это выше сил моих». Иногда Гаршин давал ночной приют в своей квартире «неблагонадежным» лицам, вооруженным кинжалами и револьверами, и, при своей нервности, терзаясь в этих случаях опасениями за их безопасность.

Быть спокойным и бесстрастным наблюдателем борьбы революционеров с правительством Гаршин, конечно, не мог. С болезненным вниманием он следил

за этой борьбой, — вниманием тем более тягостным, что печальный исход ее был для него предрешен. И на его внутренней жизни эта борьба оставила самый сильный след.

Все основные настроения, проявляемые Гарпиным в его творчестве, коренятся в тех условиях, в которых находилась его общественная группа в конце 70-х и 80-х г.г. Поколение Гаршина с ужасом наблюдало — мы говорим, конечно, о наиболее передовой части — первые стремительные успехи капиталистических отношений. К старому хищничеству, феодальному, прибавилось новое, буржуазное. В круг своего влияния завоеватель — капитал втягивал и деревню. Рассеянное по деревням, темное и забитое крестьянство на своих боках чувствовало эту новую тяготу. Народнически настроенная интеллигенция видела в развитии капитализма одни только темные стороны и предавалась грустным размышлениям о том, что может противостоять этому новому бедствию. Надежда на революционную самостоятельность крестьянства была почти уничтожена. Городской пролетариат был еще слишком малочислен и слишком мало отделялся от деревни, чтобы можно было возлагать на него какие-нибудь революционные надежды. Правда, уже в начале 80-х г.г. маленькая группа русских эмигрантов провозгласила, что освобождение России связано с развитием рабочего класса. Но такое мнение «Группы Освобождения Труда» в 80-х годах представлялось ересью и не получило сколько-нибудь широкого распространения.

Выходило так, что Россия может ожидать всестороннего освобождения — от политического и социального рабства — лишь от инициативы одной общественной группы: демократически и революционно настроенной интеллигенции. И интеллигенция взяла на свои

плечи эту страшно тяжелую ношу. Партия «Народной Воли» рассчитывала, все усиливая размах своей террористической деятельности, внести панику и дезорганизацию в правящие круги, разбудить народные массы и свергнуть таким образом гнет самодержавия.

Пока происходила героическая борьба революционеров-семидесятников с царизмом, она заслоняла собою, для лучшей части интеллигенции, все другое. Стремление к личному счастью представлялось незаконным и безнравственным, пока народ страдает. Борьба была так трудна, и так мало сил было у революционной интеллигенции, что только ценою героического самопожертвования можно было надеяться достигнуть цели. Естественно, что в среде революционеров из мелко-буржуазной среды в 70-х и начале 80-х г.г. аскетическое отношение к жизни и преклонение перед самопожертвованием для народного блага являлись заметными чертами психики. Уже во время разгара борьбы у многих представителей интеллигенции стали являться сомнения в достижимости поставленных целей. При всё увеличивавшемся количестве жертв, когда гибли лучшие силы, — эти сомнения росли. Когда после 1 марта 1881 года оказалось, что усилия народовольцев были напрасны, что реакция торжествует, то мрачные и безнадежные настроения начали повально распространяться среди передовой интеллигенции. В 80-е годы эти интеллигентские настроения вылились в форму окончательного пессимизма: начинается увлечение мрачной философией Шопенгауэра и буддийскими учениями о тщете и призрачности жизни. Но вполне определенные зачатки пессимизма были и в 70-е годы. Самый героизм народовольцев был отчасти героизмом отчаяния.

Все эти настроения — аскетическое отношение к жизни, преклонение перед самопожертвованием, скептические

ские сомнения, мрачный пессимизм — мы находим в творчестве Гаршина.

Современники Гаршина, передовые интеллигенты, были подавлены той массой общественного зла, которое они брались своими силами исправить и уничтожить. Сын своей эпохи, Гаршин всюду, куда ни обратится, видит зло и страдание. К нему вполне применимы слова Радищева: «Я взглянул окрест себя — и душа моя страданиями человеческими уязвлена стала». Зло для Гаршина не ограничивается одними пределами человеческого общества, а становится явлением мировым, неизбежно связанным со всякой жизнью. Все его произведения — иллюстрации на тему о могуществе зла, о неизбежности страданий. «Господа, сколько горя может вынести человек? Вы не знаете? И я тоже не знаю», — говорит он («Очень коротенький роман»). Он как-то проектировал выпустить сборник своих произведений, придав им заглавие «Страдания человечества», — такое заглавие было бы, действительно, очень подходящим. Гаршин сам хорошо сознавал эту болезненную отзывчивость на страдания как свою господствующую черту. В письме к Фаусеку, 1883 г., он иронизирует над собой: «...Благородство души моей столь велико, что, уловляя себя на минуту на мысли, что жить вообще хорошо, сейчас же подыскиваешь какую-нибудь пакость для приведения себя в должное состояние страдальца, по Достоевскому и К^о».

Естественное и здоровое чувство радости бытия представляется чуждым больной душе писателя, он с недоумением, если не с раздражением говорит о людях, для которых самый процесс жизни — удовольствие. Счастливые и довольные люди, которых можно найти в рассказах Гаршина, это исключительно самодовольные пошляки и эгоисты.

Для Гаршина «мир лежит во зле». Таково его непосредственное мироощущение. И когда выпадут человеку редкие минуты счастья, то нельзя наслаждаться спокойно, потому что тут же, рядом, кто-нибудь страдает. Вот как в немногих строках выразил Гаршин эту философию страдания.

«Юноша спросил у святого мудреца Джиафара:

— Учитель, что такое жизнь?

Хаджи молча отвернул грязный рукав своего рубища и показал ему отвратительную язву, раз'едающую его руку.

А в это время гремели соловьи, и вся Севилья была наполнена благоуханием роз».

Переходим к тем отдельным формам и видам зла, которые нашли изображение у Гаршина. О войне и отношении к ней Гаршина уже шла речь выше. Другим общественным злом, остановившим внимание Гаршина, была проституция — эта гнуснейшая из форм эксплуатации человека человеком в капиталистическом обществе. Гаршин дважды брал эту тему. В первый раз он дал образ «падшей женщины» в одном из самых ранних рассказов — в «Происшествии». Героиня рассказа Надежда Николаевна не лишена образования, на дороге проституции она попала потому, что ее обольстил и бросил какой-то негодяй из «порядочного общества». Уже два года она ведет свое кошмарное существование, подавляя отвращение к своим посетителям, к своей жизни и к себе самой вином, а то и просто водкой. Против людей у нее полное озлобление. «Разве есть они, хорошие люди, разве я их видела и после и до моей катастрофы? Должна ли я думать, что есть хорошие люди, когда из десятков, которых я знаю, нет ни одного, которого я могла бы не ненавидеть? И могу ли я верить, что они есть, когда тут и мужья от молодых жен, и дети

(почти дети — четырнадцать, пятнадцать лет) из «хороших» семейств, и старики лысые, параличные, отжившие?».

Однако такой «хороший человек» нашелся в лице скромного молодого чиновника Никитина. Полюбив Надежду Николаевну, он предлагает ей сделаться его женою. Но та отказывается. Она не любит Никитина и боится, что брак с ним будет обманом и фальшью, что он не сможет забыть ее прошлого. Слабый духом Никитин сначала запивает, а потом кончает самоубийством. В этом и состоит «Происшествие».

Через 7 лет Гаршин вернулся к этой теме и ту же женщину вывел в рассказе «Надежда Николаевна». После смерти Никитина прошло два года. Надежда Николаевна провела их в тех же условиях. Но она сохранила свою обаятельность. В рассказе она делается предметом любви двух лиц — художника Лопатина и журналиста Бессонова. Художнику она позирует для его картины «Шарлотта Кордэ». Знакомство, завязавшееся на этой почве, переходит в постепенное сближение. Лопатин глубоко полюбил это несчастное и гордое создание и готов сделать все, чтобы спасти ее. Когда, наконец, Надежда Николаевна перестает противиться и готова стать женой Лопатина, к ним врывается обезумевший от страсти Бессонов, убивает Надежду Николаевну, ранит Лопатина и сам гибнет от руки последнего. От развившейся чахотки через некоторое время умирает и Лопатин.

Нельзя сказать, чтобы образ падшей женщины удался Гаршину. Для реального изображения у него нехватило красок: слишком он был мягок и целомудрен духом и слишком мало знал в жизни тот тип, который изображал. Проститутку он берет не типичную, а исключительную. Вся та грязь, которая в дей-

ствительной жизни связана с ремеслом проститутки и пристаёт к самым чистым душам, по несчастью попавшим на эту дорогу, совершенно отсутствует у Гаршина. История того, как попала она в свое положение, почти скрыта от читателей. Мы видим гордую обаятельную женщину с одухотворенно-красивым лицом, от которого приходит в восторг художник, без всяких специфически-отталкивающих черт в обращении, в манере держаться, тонко мыслящую, благородно чувствующую. Это, конечно, идеализация. Гаршин примыкает здесь к традиции прежней западно-европейской, а отчасти и русской литературы (Соня Мармеладова у Достоевского), — традиции, состоящей в возвеличении и идеализации падшей женщины ради гуманных целей.

В. Г. Короленко дает очень удачное сравнение между изображениями проститутки у старых писателей и в литературе нашего времени. «В наше время литература вскрывает бытовую обстановку проститутки с поразительной, отталкивающей, одуряющей правдивостью. Эти наивные образы 70-х годов стоят к новейшей литературе по этому предмету приблизительно в таком же отношении, как мужики Тургенева или крестьянские дети из «Бежина луга» — к картинам народной жизни вроде, например, решетниковских «подлиповцев». Однако есть своя правда и в «Бежином лугу». И порой невольно приходит в голову, что реальный угар, которым веет от новейших изображений проституции — тоже не вся правда. Для художественного синтеза необходим и элемент того художественного идеализма, с каким подходила к этому вопросу литература 60-х и 70-х годов.

Война, проституция — это такие общественные явления, присущие капиталистическому обществу, которые невольно кидаются в глаза даже и не слишком пристальному наблюдателю. Но и под внешним покровом

«нормально» текущей жизни буржуазного общества Гаршин усматривал тягостные противоречия и столь ненавистное ему насилие. Этого повседневногo хищничества Гаршин касается в рассказе «Встреча». Сюжет рассказа очень прост. После долгой разлуки встретились два университетских товарища — учитель Василий Петрович и инженер Кудряшов. Кудряшов, несмотря на свою молодость, уже настоящий делец и рвач. Он катается на рысаках, живет в прекрасной квартире, угощает приятеля дорогим ужином и откровенно рассказывает последнему, что все его благосостояние построено на обмане казны при портовых сооружениях. Он спокойно, с цинизмом называет вещи своими именами и к негодованию приятеля относится, как к смешной сентиментальности.

В заключение Кудряшов показывает свою любимую забаву — аквариум из морской воды с морскими животными, который обошелся ему тысяч в тридцать наворованных денег. Он поясняет, почему ему особенно нравится наблюдать свой аквариум. «Я люблю всю эту тварь за то, что она откровенна — не так, как наш брат человек. Жрут друг друга и не конфузятся. С'едят и не помышляют о безнравственности — а мы?..» Подобные мысли приходили в голову не одному инженеру Кудряшову: нередко защитники буржуазно-капиталистического мира прибегали к «борьбе за существование», пытаясь «по Дарвину» доказать, что буржуазная эксплуатация совершенно неизбежна и связана с законами самой природы.

Художественное значение рассказа «Встреча» не слишком велико: слишком большое место в нем отводится диалогу, к которому почти и сводится все содержание произведения. Но этот рассказ вскрывает то отвращение и вместе ужас, которые внушали Гаршину хищ-

ники буржуазного мира. Изображение аквариума приобретает у Гаршина символическое значение: обитатели его поглощают друг друга, слабые трепещут и скрываются от сильных, более ловкий выхватывает у другого добычу из самого рта. Это — картина капиталистического мира с таким же пожиранием слабых сильными, с борьбой хищников за лучшие куски.

Еще более острую постановку вопрос о том, что несет с собой капитализм в народную жизнь, получил в рассказе «Художники». Вместе с тем, здесь Гаршин говорит о значении искусства вообще и о роли его в буржуазном обществе. Получился один из самых насыщенных содержанием и самых типичных для Гаршина рассказов.

Гаршин дает параллельное изображение двух художников — Дедова и Рябинина. Дедов — поклонник изящного и гармоничного. По его взгляду, искусство должно «настраивать человека на тихую, кроткую задумчивость, смягчать душу». В живописи Дедов специализировался на пейзаже. Никаких сомнений относительно значения искусства он не знает, убежденный, что «ничто так не возвышает человека, как творчество». Необходимость продавать свои картины, стараясь сорвать как можно больше, кажется ему вещью вполне нормальной.

Этому стороннику чистого искусства противопоставлен жанрист Рябинин. Как типичный представитель эпохи народничества, он, по словам Дедова, «пишет лапти, онучи и полушубки, как будто бы мы не довольно насмотрелись на них в натуре».

Рябинин мучится вопросом о том, чему он служит своим искусством. Он признает искусство только общественно-значительное и не уверен — бывает ли вообще такое. Совершенно в духе Льва Толстого в его позднейшей книге «Что такое искусство» следующие мысли

Рябинина: «Когда я хожу по выставке и смотрю на картины, что я вижу в них? Холст, на который положены краски, расположенные таким образом, что они образуют впечатления, подобные впечатлениям от различных предметов. Люди ходят и удивляются: как это они, краски, так хитро расположены! Написаны целые книги, целые горы книг об этом предмете; многие из них я читал... Они все толкуют о том, какое значение имеет искусство, а в моей голове, при чтении их, непременно шевелится мысль: если оно имеет его. Я не видел хорошего влияния хорошей картины на человека; зачем же мне верить, что оно есть?»

Для Рябинина очевидно, что в буржуазном обществе художник становится в зависимость от вкусов и потребностей капиталиста, от его кармана, и эта зависимость для него отвратительна. «Как убедиться в том, что всю свою жизнь не будешь служить исключительно глупому любопытству толпы... и тщеславию какого-нибудь разбогатевшего желудка на ногах, который, не спеша, подойдет к моей пережитой, выстраданной, дорогой картине, писанной не кистью и красками, а нервами и кровью, пробурчит: «Мм... ничего себе», сунет руку в оттопырившийся карман, бросит мне несколько сот рублей и унесет ее от меня».

Рябинин услышал случайно рассказ о рабочих, заклепывающих на заводах котлы. Работа исключительно тяжелая и разрушительная для здоровья, потому что заклепку приходится держать внутри котла клещами, что есть силы напирая на них грудью, в то время как мастер снаружи бьет по заклепке молотом. Удары, таким образом, отражаются прямо на груди держащего клещи. Таких рабочих называют «глухарями», потому что от оглушительного звона, раздающегося над самыми ушами, они обыкновенно глохнут.

Рябинин поехал на завод, чтобы самому посмотреть такого глухаря. Посмотревши полчаса, он решил написать его на картине. Он ярко передал нечеловеческое напряжение глухаря, всю ужасную обстановку его работы и те следы, которые подобная работа оставляет на внешности человека. В эту картину художник вложил всю свою душу, и она измучила его.

В иные моменты художнику кажется, что картиной своей он как-то сумеет затронуть буржуазное общество, сумеет потрясти его, наглядно показавши ему ужасное положение рабочих, и что таким образом его искусство будет служить общественным целям. «Кто вызвал тебя? Я, я сам создал тебя здесь. Я вызвал тебя, только не из какой-нибудь «сферы», а из душного темного котла, чтобы ты ужаснул своим видом эту чистую, прилизанную, ненавистную толпу. Приди, силою моей власти прикованный к полотну, смотри с него на эти фраки и трэны, крикни им: «Я — язва растущая!». Ударь их в сердце, лиши их сна, стань перед их глазами призраком! Убей их спокойствие, как ты убил мое!»

Но затем Рябинин думает, что никакой картиной не прошибешь эту толпу, что напрасны его мечты. Выдержавши тяжелую нервную болезнь, он вышел из Академии и сдал экзамен в учительскую семинарию — с тем, чтобы, сделавшись сельским учителем, непосредственно служить народу.

Развивавшийся капитализм заставил более чутких русских художников 70-х годов поставить вопрос о социальной роли искусства в капиталистическом обществе. Многим при этом, подобно Рябинину, приходило в голову, что при развившихся капиталистических отношениях художники роковым образом попадают в зависимость от богатой буржуазии, стремящейся подчинить себе всю идеологию, в том числе и искусство. Теми

стремлениями, которые мы видим у Рябинина, была в действительности проникнута русская живопись 60-х—70-х г.г., особенно в группе «передвижников» («Товарищество постоянных передвижных выставок»). Народничество в живописи выражалось в особенном интересе к изображению крестьянской жизни, особенно с ее темных сторон (Максимов, Перов, Лемох и др.), и разных видов народного труда. Сюда относятся, например, «Бурлаки» Репина и «Кочегар» Ярошенко. Последняя картина в сильной степени послужила Гаршину отправной точкой для его «глухаря».

Отношение Гаршина к пролетариату, выразившееся в рассказе, — чисто народническое. Народолюбивая интеллигенция 70-х годов видела тяжесть положения русских пролетариев в эпоху первоначального накопления, всячески им сочувствовала, призывала общественное внимание к этому явлению, но никаких отрадных перспектив в будущем появление и развитие пролетариата в России в народниках не возбуждало. Для Гаршина пролетариат только «язва растущая», и возникновение его — социальное зло. Нужно было пройти еще ряду лет, нужно было русскому пролетариату заявить себя первыми стачками для того, чтобы среди мелко-буржуазной интеллигенции появилось сознание громадной общественной роли этой «язвы».

Итак, в произведениях своих Гаршин дал яркое изображение различных видов социального зла. Принять по-обывательски буржуазный мир со всей его дисгармонией и несправедливостью он не мог. И в то же время не мог примкнуть к тем, кто мужественно брал на себя активную борьбу с этим миром. От сознания громадности окружающего зла у Гаршина развивалось настроение самопожертвования, готовность бороться со злом ценою своих собственных, а не чужих страданий.

Переживания самоотречения, самопожертвования были отнюдь не чужды и революционной части интеллигенции 70-х годов. Эта мелко-буржуазная интеллигенция, взявшая на себя непосильную историческую задачу, не могла не сознавать себя подчас такой слабой, как бы обреченной горсточкой людей перед лицом других могучих социальных сил. И в героической деятельности народовольцев был элемент самопожертвования: в то время как возможность русского народного собрания, управляемого революционной партией, рисовалась только в более или менее отдаленном будущем, для каждого террориста ближе и неизбежней была перспектива собственной гибели на эшафоте. Недаром в 70-е годы своего рода гимном, принятым в среде русской революционной интеллигенции, становится похоронный марш «Вы жертвою пали в борьбе роковой».

Самопожертвование — один из основных мотивов в творчестве Гаршина. Вот несколько примеров. В голове героя рассказа «Ночь», экстатически переживающего момент нравственного просветления и под'ема, вихрем несутся мысли о необходимости самоотречения.

В нравоучительных произведениях — «Сказание о гордом Аггее» и «Сигнал» — Гаршин дает прямую проповедь самопожертвования. Гордый и ожесточившийся сердцем правитель Аггей нашел свое счастье в том, что отказался от богатства и власти и стал последним из последних — служителем слепых нищих. В «Сигнале» железнодорожный сторож, чтобы остановить поезд, идущий к верной гибели, разрезает руку и собственной кровью пропитывает кусок материи.

В прелестной, но бесконечно-печальной «Сказке о жабе и розе» прекрасную розу готова слопать отвратительная жаба. Но в последний миг девушка срезала розу и отнесла умирающему мальчику, чтобы он полю-

бовался ею. Мерзкая жаба осталась без добычи. Мальчик вдохнул запах розы и, счастливо улыбаясь, умер. Роза стояла в бокале у маленького гробика. Молодая девушка, сестра умершего, поднесла розу к губам и поцеловала. «Маленькая слезинка упала с ее щеки на цветок, и это было самым лучшим происшествием в жизни розы». Красота, овевающая этот рассказ, — это красота гибели для других.

Высшего своего пафоса творчество Гаршина достигло в «Красном цветке» — повествовании о героическом самопожертвовании. Безумец в сумасшедшем доме вообразил, что все зло мира воплотилось в красных цветах мака, расцветшего в больничном саду. «Цветок в его глазах осуществлял собою все зло; он впитал в себя всю невинно пролитую кровь (оттого он и был так красен), все слезы, всю желчь человечества. Это было таинственное страшное существо, противоположность богу, Ариман, принявший скромный и невинный вид». Больной решает сорвать цветок и тем уничтожить зло мира. Цветок внушает ему ужас и отвращение, но решение его непоколебимо. Сорвавши первый цветок, он прячет его под одеждой, прижимает к своей груди, уверенный, что этим он губит себя. «Его зло перейдет в его грудь, его душу, и там будет побеждено или победит — тогда сам он погибнет, умрет, но умрет, как честный боец и как первый боец человечества, потому что до сих пор никто не осмеливался бороться разом со всем злом мира». За первым цветком следует второй. Больной переживает невероятное душевное возбуждение, худеет, тает. Его связывают, чтобы он не изнурял себя постоянной ходьбой, но больной знает, что распустился третий цветок, и не может успокоиться. Ценою невероятных усилий, он ночью развязывается, проникает через окно и через забор в сад и там срывает послед-

ний цветок. «Утром его нашли мертвым. Лицо его было спокойно и светло; истощенные черты с тонкими губами и глубоко впавшими закрытыми глазами выражали какое-то горделивое счастье. Когда его клали на носилки, попробовали разжать руку и вынуть красный цветок. Но рука заоченела, и он унес свой трофей в могилу».

Специалисты признают, что в рассказе Гаршина дана чрезвычайно верная картина подлинного душевного заболевания определенного вида. Но не в этой стороне рассказа, конечно, его главное значение. Герой борется с призраком, но в этой борьбе проявляется самое подлинное мужество и самоотвержение, и страдания его не легче оттого, что помутившийся ум направил его волю на ложный путь. Душевные муки гаршинского поколения из-за беспредельности социального зла и преклонение его перед самопожертвованием нашли в рассказе о герое-безумце законченно-художественное выражение.

Гаршин, хорошо помнивший то, что он переживал в периоды душевного расстройтва, вложил в рассказ много автобиографического. В 1883 году Ф. Фидлер спросил писателя, не послужило ли ему для «Красного цветка» прототипом живое лицо. «Я сам был объектом моих психиатрических наблюдений», мрачно ответил Гаршин. Из того, что он рассказывал Фидлеру о своих переживаниях в лечебнице, наиболее интересно следующее. «Однажды разыгралась страшная гроза. Мне казалось, что буря снесет весь дом, в котором я тогда жил. И вот, чтобы этому воспрепятствовать, я открыл окно, — моя комната находилась в верхнем этаже, — взял палку и приложил один ее конец к крыше, а другой к своей груди, чтобы мое тело образовало громовод и таким образом спасло все здание, со всеми

его обитателями от гибели». Конечно, не всякий больной переживал бы в подобном случае то же, и характерно именно для Гаршина, что его безумные идеи проникнуты чувством самоотвержения.

Из сделанного обзора большей части произведений Гаршина видно, как часто звучат у него мрачные, пессимистические ноты. Люди у него обыкновенно делают не то, что хотят, а сознательных своих целей никогда не добиваются. На пороге достигнутого счастья гибнут Надежда Николаевна и Лопатин. О несбывшихся мечтах и погибшем счастье говорит и «Очень короткий роман». Содержание рассказа «Ночь» состоит в том, что измученный жизнью и изолгавшийся человек подводит озлобленно-унылые итоги своему существованию, решив покончить с собой. Люди представляются ему «кровожадными кривляющимися обезьянами», а человеческая жизнь — рядом призраков, за которыми люди гонятся, не зная почему, или от которых бегают, тоже не зная почему. Правда, герой переживает острый момент нравственного под'ема, приходит к пониманию, что правда жизни — в служении людям, и умирает не от пули из приготовленного револьвера, а оттого, что слабое сердце не выдержало внезапного прилива восторженных чувств. Но, надо сказать, возможность такого возрождения для Алексея Петровича (имя героя) не очень убедительно показана автором. Мрачная часть рассказа кажется больше прочувствованной автором, чем его оптимистический конец.

Едким пессимизмом под покровом юмора проникнута небольшая сказочка «То, чего не было». На полянке собралась небольшая компания насекомых. Все они толкуют о мире, о жизни и ее целях. Приходит кучер и своим сапогом растаптывает всех философствующих, даже не заметив их. Конечно, это — образ

человеческой жизни, и очень безотрадный образ, хотя Гаршин почему-то и восставал против такого символического толкования его сказки.

Без сомнения, у Гаршина была и чисто личная причина пессимистических настроений, — это его болезнь. Но придавать чересчур большое значение этому обстоятельству нельзя, если мы видим, что произведения Гаршина находили полный отклик в его поколении, которое ведь в большинстве своем состояло из здоровых людей. Дело не в болезни Гаршина, как и не в болезни двух выдающихся писателей 80-х годов — Надсона и Чехова, страдавших туберкулезом, а в тех общих причинах, по которым скорбь этих писателей так жадно воспринималась читателями. Эти причины лежат в указанных выше особенностях исторического момента и в положении того класса, к которому принадлежал Гаршин.

У Гаршина, как мы видели, пессимистические настроения стали складываться очень рано. Общественные условия способствовали сильному росту этих задатков. Не в одну эпоху русской истории роль отдельной личности не представлялась такой значительной, как в конце 70-х и начале 80-х годов, — в годы борьбы народовольцев с самодержавием. Но как раз относительно роли личности Гаршин был большим скептиком. Стихийный характер такого явления, как война, близко наблюдавшаяся Гаршиным, способствовал развитию этого скептицизма. Отдельный человек у Гаршина обыкновенно увлекается процессом жизни и бессилен что-нибудь предотвратить или изменить в ходе событий, как бессильны были насекомые из сказки перед раздавившим их сапогом.

Уже в 1876 году у Гаршина явился образ пальмы, пробивающей крышу оранжереи, чтобы добиться сво-

боды. Он нарисовал этот образ в стихотворении «Пленица». В 1880 году, в самый разгар народовольческой борьбы, Гаршин вернулся к этому образу в одном из самых популярных своих произведений — в «Attalea princeps». Рассказ не был напечатан в «Отечественных Записках», как создающий «унылое впечатление».

Гордая пальма в оранжерее твердо решила выйти на свободу, чтобы посмотреть на солнце и небо. Другие деревья на ее предложение действовать совместно дружным хором ответили, что это — несбыточная мечта, что рамы прочны, и люди сумеют обуздать бунт. Тогда пальма начала борьбу одна. Ценою громадного напряжения и жестокой боли, уродуя себя, она пробила, в конце концов, своей вершиной стеклянную крышу оранжереи. Выпрямившаяся зеленая корона пальмы гордо возвысилась над стеклянным сводом.

«Была глубокая осень, когда Attalea выпрямила свою вершину в пробитое отверстие. Моросил мелкий дождик пополам со снегом; ветер низко гнал серые клочковатые тучи. Ей казалось, что они охватывают ее. Деревья уже оголились и представлялись какими-то безобразными мертвецами. Только на соснах да на елях стояли темно-зеленые хвои. Угрюмо смотрели деревья на пальму. «Замерзнешь! — как будто говорили они ей. — Ты не знаешь, что такое мороз. Ты не умеешь терпеть. Зачем ты вышла из своей теплицы?»

Для пальмы все было кончено. Она застывала. Пришли люди, спилили ее и выбросили в грязь на задний двор.

Мрачен этот символический рассказ о гордой пальме. И не оттого мрачен, что пальма погибла: ведь она знала миг победы, хотя и очень короткий, ведь она достигла своего — пробила на свободу. Рассказ, пожалуй, можно было бы толковать и как прославление

непреклонной воли, добивающейся своего, если бы не те переживания, которые приписаны пальме в момент ее победы. «Только-то? — думала она. И это все, из-за чего я томилась, страдала так долго? И этого-то достигнуть было для меня высочайшей целью?» Стоит ли гордо бороться, если победа несет такое разочарование?

Неверие подтачивало душевную жизнь Гаршина. Ни народные массы, прозябающие в косных формах быта, ни одинокие герои со своим подвигом не вызывали в нем веры и энтузиазма. Тем, кто вел мужественную борьбу, он отдавал свое уважение, — но самый подвиг представлялся ему бесплодным. Недаром у Гаршина смело берется за борьбу с мировым злом безумец.

III

У каждого писателя своеобразны душевные состояния, связывающиеся с процессом творчества. Для Гаршина творчество было мучительным делом, — слишком много влагал он себя в свои произведения, страдальчески переживая то, что описывал. По удачному выражению одного критика, «сам Гаршин каждым своим произведением раздавливал «Красный цветок» на своей груди». Что это не преувеличение, показывает следующее место из письма Гаршина 1881 г.: «Писать я не могу (должно быть), а если и могу, то не хочу: ты знаешь, что я писал, и можешь иметь понятие, как доставалось мне это писание. Хорошо или плохо выходило написанное, это вопрос посторонний; но что я писал в самом деле одними своими несчастными нервами и что каждая буква стоила мне капли крови, то это, право, не будет преувеличением». Несомненно, относительно малая литературная производительность Гаршина зависела от этой психологической мучительности для него писания.

Работая с таким нервным напряжением, вкладывая в творчество всю душу, Гаршин создавал произведения очень субъективные, носившие яркий отпечаток личности их автора. Чуткая, вдумчивая и грустная индивидуальность самого Гаршина чувствуется всюду за тем, что он рассказывает, — и в этом главная причина обаятельности его произведений. Во многих рассказах центральное действующее лицо в сильной степени воспро-

изводит душевный мир самого автора. Таковы — рядовой Иванов в двух рассказах, «Трус», Рябинин, отчасти художник Лопатин. Есть такие субъективные черты, хотя смешанные с другими, не-гаршинскими, и у Алексея Петровича из «Ночи». Болеющий совестью русский интеллигент, мучительно воспринимающий скорбь и страдания, — вот главный герой гаршинского творчества.

От своего внутреннего «я» Гаршин не мог никогда отрешиться настолько, чтобы перейти к настоящему эпосу, к передаче прежде всего явлений внешнего мира. Этот внешний мир его недостаточно интересует, заслоняемый внутренней работой. При преобладающем субъективном характере творчества, Гаршин не создал ни одного образа, который явился бы широким обобщающим типом. А такие типы можно создавать и в очень маленьких рассказах: припомним «Человека в футляре» Чехова. Бытовых картинок у него немного, — некоторые солдатские и офицерские сцены в «Рядовом Иванове», изображения «высшего круга» уездного городка в «Медведях». Описания занимают у Гаршина очень скромное место. Богаче всего описаниями природы рассказ «Из воспоминаний рядового Иванова». Затем имеется еще описание жаркого летнего дня в сказке «То, чего не было», да «Медведи» начинаются описанием окрестностей города Бельска (Старобельска). В целом ряде произведений Гаршина местом действия является Петербург, однако и картин Петербурга он почти не дает. Только в «Очень коротеньком романе» можно найти беглое описание петербургских ночей — зимней и весенней. Психология человека всегда стоит для Гаршина на первом плане.

Гаршин отчетливо сознавал субъективный и лирический характер своего творчества; в последние годы он перестал удовлетворяться прежними приемами и пы-

тался обновить их. В мае 1885 года он пишет одному знакомому: «Я чувствую, что мне надо переучиваться сначала. Для меня прошло время страшных отрывочных воплей, каких-то «стихов в прозе», какими я до сих пор занимался: материалу у меня довольно, и нужно изображать не свое я, а большой внешний мир. Но старая манера навязла в перо, и оттого-то первая вещь с некоторым действием и попыткою ввести в дело нескольких лиц решительно не удалась». (Попытка, о которой здесь идет речь, это — «Надежда Николаевна».) Письмо это весьма важно для выяснения того, в какую сторону шло развитие творчества Гаршина.

Хотя Гаршин творил с большим душевным надрывом и вообще был человеком неуравновешенным, но в форме его произведений, в литературной манере это отразилось мало. Темы рассказов Гаршина обыкновенно очень тяжелы, подчас кошмарны. Припомним: раненый, четыре дня лежащий возле гниющего трупа; ужасная гангрена, очень реалистически описанная, от которой умирает студент Кузьма («Трус»); несколько убийств в «Надежде Николаевне»; самоубийство в «Происшествии» и переживания другого самоубийцы в «Ночи»; умирающий от крайнего перенапряжения всех сил сумасшедший... Но форма, в которой рассказывает Гаршин обо всех этих тяжелых вещах, очень сдержанная и ясная. В критике отмечалось его влечение к почти математической точности в том, что он описывает. Произведения Гаршина совсем не создают иступленного, бредового впечатления самым стилем, приемами художественной передачи, что так свойственно Достоевскому. К этому своему великому современнику Гаршин не очень благоволил и остался чужд его влиянию.

В тот исторический момент, в который Гаршин выступил на литературную дорогу, художественный реализм насчитывал уже лет сорок безраздельного господства в русском искусстве. Пора зрелости для этого направления уже прошла, начиналось увядание. Это еще не оформилось отчетливо, но начинало чувствоваться.

Классические образцы художественного реализма были созданы в русской литературе еще в эпоху дворянской, усадебной культуры с ее медленным темпом жизни. Обстоятельный, неторопливый роман Толстого и Тургенева — вот высшие достижения дворянской литературы. От 40-х до 80-х г.г. многое изменилось во всей экономической и общественной обстановке России. Страна перешла к буржуазным формам эксплуатации труда, на смену крепостническому дворянству выступила буржуазия, большую роль в жизни России стал играть город. В связи с изменением материальной основы общественной жизни стал изменяться и стиль искусства. Более напряженная и нервная жизнь требовала соответственных изменений в искусстве. Эти новые требования проявились ощутительно позже, в 90-е годы, когда в искусстве начался своего рода бунт против старого реализма, но подготовка шла исподволь и раньше.

С конца 70-х годов уже начинает чувствоваться, что безусловный художественный реализм идет к закату. В романе и повести господствовали уже не великие творцы, — Толстой, Достоевский, Тургенев, — а их неизмеримо более мелкие преемники, «эпигоны». В реалистической художественной манере выработалось много условных приемов, шаблонов, которыми с успехом восполнялся недостаток собственного творчества.

Гаршин явился одним из самых ранних провозвестников литературного обновления. Как деятель пере-

ходной эпохи, он совмещал в себе черты и старого и нового. К старой литературе он вполне примыкал, например, по господствующему в его произведениях морально-учительному тону, по сочувствию к обиженным судьбою и страдающим, по стремлению к художественной простоте. Но в целом господствующее направление перестало удовлетворять Гаршина, и он, хотя и робко, искал нового. Эти искания сближают его с литературным поколением восьмидесятников, выступившим на несколько лет позже Гаршина, и, прежде всего, с самым талантливым из этого поколения — с А. П. Чеховым.

Что Гаршин был сознательным новатором, начавшим бунтовать против прежних приемов, показывает его письмо к Латкину от 1 мая 1885 года. По поводу неудачи «Надежды Николаевны» Гаршин говорит: «Что вещь вышла «не реальная», о том я не забочусь. Бог с ним, с этим реализмом, натурализмом, протоколизмом и прочим. Это теперь в расцвете или, вернее, в зрелости, и плод внутри уже начинает гнить. Я ни в коем случае не хочу дожевывать жвачку последних пятидесяти — сорока лет и пусть лучше разобью себе лоб в попытках создать себе что-нибудь новое, чем идти в хвосте школы, которая из всех школ, по моему мнению, имела меньше всего вероятия утвердиться на долгие годы». Гаршин верно чувствует, что золотой век реализма прошел, и выступает убежденным противником того мелочного протоколизма, в который стало вырождаться это направление.

Одним из обычных приемов, утвердившихся в литературе времен Гаршина, было загромождение произведений, во имя жизненного правдоподобия, совершенно ненужными для художественного целого реалистическими подробностями. Гаршин, в противовес этому,

больше всего стремился к художественной экономии, к тому, чтобы в рассказе или повести не было ничего лишнего. Уменьше вложить большое содержание в немногие, скудные строки — вот что он ценил больше всего. Когда художник Репин спросил его, отчего он не напишет большого романа, Гаршин ответил: «Есть в Библии «Книга пророка Аггея». Эта книга занимает всего вот этакую страничку. И это есть книга! А есть многочисленные томы, написанные опытными писателями, которые но могут носить почтенного названия «книги», и имена их быстро забываются, даже несмотря на их успех при появлении на свет. Мой идеал — Аггей. И если бы вы только видели, какой огромный ворох макулатуры я вычеркиваю из своих сочинений! Самая огромная работа у меня — удалить то, что не нужно. И я проделываю это над каждой своей вещью по нескольку раз, пока, наконец, покажется она мне без ненужного балласта, мешающего художественному впечатлению».

Это — чрезвычайно важное свидетельство писателя о себе. Оно убедительно показывает, что наибольшая художественная сжатость была предметом сознательного стремления Гаршина. К нему, как к одному из создателей художественно-сжатого рассказа, примыкает Чехов. Известно, что Чехов всем начинающим писателям, с которыми был в сношениях, настоятельнее всего советовал выкидывать из своих произведений как можно больше, сокращая первоначальные наброски в несколько раз. Сам он работал именно так. Это была естественная реакция на устаревшую многословную громоздкость, на стремление все договаривать, ставить все точки над «и», свойственное и таким великим старым мастерам, как Тургенев или Толстой.

Стремясь к прозрачной ясности и благородной простоте языка, Гаршин тщательно избегал всех выражений банальных и трафаретных, которых так много накопилось в литературном обиходе его времени. Это отвращение к избитым словесным оборотам тоже роднит его с Чеховым. Чехов, без сомнения, имел в виду свой собственный процесс творчества, когда изображал в «Чайке» молодого писателя Треплева, ищущего новых форм. Он беспощадно сокращает написанное им прежде и в первую голову вычеркивает такие затасканные обороты, как «афиша гласила», «бледное лицо, обрамленное черными волосами», и пр.

Стремление к сжатости выражается у Гаршина уже в построении отдельной фразы. К периодической речи он не склонен, предпочитая краткие выражения. Местами его речь производит впечатление отрывистости. Например: «Прошел еще месяц. Attalea подымалась. Наконец, она плотно уперлась в рамы. Расти дальше было некуда. Тогда ствол начал сгибаться».

Как коротка отдельная фраза у Гаршина, так коротки и целые произведения. Исключительно облюбованная им литературная форма — это небольшой рассказ. «Надежда Николаевна», приближающаяся к типу более сложной по действию и количеству выведенных лиц повести — наименее удачное создание Гаршина. Мечты своей о романе, бытовом или историческом, ему осуществить не удалось. В этом опять сходство с Чеховым, который в разные периоды своего творчества замышлял написать роман, но не осуществил этого намерения.

Литературное новаторство Гаршина и стремление его к новым художественным путям выразилось, между прочим, и в склонности его давать символические образы («Attalea princeps», «То, чего не было»). Этот симво-

лизм еще очень близок к аллегоричности, к притче, но наличность его несомненна.

Так как Гаршина интересует прежде всего внутренний мир человека, то для него не требуется большое количество действующих лиц. Характерно то, что в целом ряде рассказов Гаршина мы находим только одно лицо. Таковы: «Четыре дня», «Ночь», «Красный цветок».

Этот же интерес к внутренним переживаниям, стремление как бы обнажить душу человека заставляют Гаршина так часто прибегать к форме дневников и записок. В этой форме легче всего непосредственно передать, что человек думает и чувствует. Дневники у него являются в рассказах: «Трус», «Происшествие», «Из воспоминаний рядового Иванова», «Художники», «Надежда Николаевна». В последних двух произведениях мы видим даже форму двух параллельных дневников (отчасти это встречается и в «Происшествии»). В этой манере — слабая сторона Гаршина. Слишком уж прост этот способ проникнуть в глубь души человека — дать прочесть его вымышленный дневник. И слишком часто ведутся у него дневники людьми самых различных положений и характеров. Для некоторых его героев психологически невероятно ведение дневника.

Легче всего Гаршину было вести рассказ от первого лица. Это показывает до известной степени его слабость в умении построить произведение, в архитектонике. Кроме перечисленных рассказов с дневниками, от первого лица ведется рассказ в «Очень коротеньком романе», в «Четырех днях». В «Ночи» почти все содержание рассказа заключается в передаче того, что думал Алексей Петрович. Довольно искусственна форма «Четырех дней». Это как бы психологический монолог,

изложение вслух мыслей определенного лица. Так как в данной обстановке не могло быть речи о дневнике, то Гаршину приходится прибегать к такому приему. Раненый принесен в госпиталь; через несколько времени он немного оправился: «Я могу говорить и рассказываю им все, что здесь написано». Всякий, знающий содержание «Четырех дней», поймет надуманность такого заключения. Раненый, едва пришедший в себя, мог бы рассказать совершенно незнакомым людям лишь внешние факты, а не сложные и глубокие свои мысли и чувства, касающиеся войны, людей и жизни вообще. Остается еще прибавить, что для мучимого раной, изнемогающего от жажды, совершенно ослабевшего физически человека очень неправдоподобны те сложные переживания, муки совести и пр., какие мы находим в рассказе. Переживания подлинного раненого на поле битвы были бы много «физиологичнее» и элементарнее. Но мы знаем, что Гаршин недорого ценил правдоподобие такого рода. Для него выше всего была «правда души человеческой», как он ее себе представлял. Ему, измученному тягостной работой мысли и совести, внутренне раздвоенному, казалось более всего нужным именно эти свои мысли и сомнения вкладывать прежде всего в произведения, не стесняясь некоторыми нарушениями естественности.

К слабым сторонам Гаршина, помимо недостаточного умения справляться с архитектурой произведения, следует отнести и слишком упрощенные противоположения. Мы видим такое сопоставление контрастов во «Встрече» — инженер Кудряшов и учитель Василий Петрович. В особенности резко проведена антитеза в «Художниках», где Рябинин и Дедов в своих дневниках по поводу каждого вопроса высказывают диаметрально-противоположные мнения.

Тщательно избегая избитых мест в языке своих произведений, Гаршин не всегда умел избежать их в содержании рассказов. Так, в рассказе «Ночь» много детски-наивного. Злодей или отчаявшийся человек, на которого спасительно действует колокольный звон, — это очень старый литературный шаблон.

Подобно другим писателям, Гаршин в своем творчестве подвергался тем или иным влияниям. В сказках Гаршина, особенно в юмористической «Лягушке-путешественнице», несомненно влияние знаменитого датского сказочника Андерсена, которого Гаршин ставил чрезвычайно высоко. Он предполагал издать свои сказки, если бы их достаточно набралось, отдельной книгой с посвящением ее памяти своего учителя Андерсена. Кое в чем критика усматривала влияние Диккенса. Но сильнее всего на творчестве Гаршина отразилось влияние Л. Толстого.

Толстой вообще играл для Гаршина очень большую роль. Он с крайним интересом следил за развитием его религиозно-моральных идей. Кое в чем — например, во взглядах на значение физического труда и на необходимость такого устройства, чтобы каждый все ему нужное приготовлял сам — Гаршин вполне сходился с Толстым: он самостоятельно приходил к этим мыслям, прежде чем их начинал проповедывать Толстой. Другие мнения Толстого-мыслителя вызывали критику и возражения со стороны Гаршина. Но в области чисто художественного творчества Толстой был настоящим «властителем дум» Гаршина.

В собственном творчестве Гаршина влияние Толстого следует отметить прежде всего в военных рассказах. Севастопольские и кавказские рассказы Толстого и «Война и мир» были таким огромным достижением в деле художественного изображения войны, что трудно

было писать после Толстого на военные сюжеты, не подвергнувшись в той или иной мере его воздействию. В изображении солдатских сцен, в отдельных фигурах выведенных Гаршиным солдат и офицеров непосредственно чувствуется нечто от Толстого. Немало отдельных сцен и эпизодов у Гаршина может быть сближено с некоторыми местами из произведений Толстого. Великолепно написанная сцена прохождения войск перед Александром II напоминает такую же сцену у Толстого, с заменой Александра II Александром I. Конечно, в психологии Ростова и рядового Иванова много и разницы — они люди различного общественного положения и различных исторических эпох. Размышление раненого у Гаршина о важнейших вопросах жизни может быть сопоставлено с тем, что переживает раненый Андрей Болконский на поле битвы, глядя в «высокое небо». И здесь тоже, при общем сходстве положения, каждый писатель по-разному подходит к делу. У Толстого Болконский размышляет о «вечных тайнах» неба, сравнительно с которыми все человеческие дела представляются совершенно ничтожными. Никакой религиозной мистики нет у семидесятника Гаршина: его раненый мучится вопросами о том, за что он убил турка и за что гибнет он сам, т.-е. вопросами о взаимных отношениях людей в обществе, вопросами чисто земными. Конечно, напоминает Толстого то место рассказа, где на раненого Иванова натываются солдаты. «Кусты шевелятся и шелестят, точно тихо разговаривают: «Вот ты умрешь, умрешь, умрешь!» — шепчут они. «Не увидишь, не увидишь, не увидишь!» — отвечают кусты с другой стороны. «Да тут их и не увидишь!» — громко раздается около меня. Я вздрагиваю и разом прихожу в себя». Здесь находящийся в забытьи человек точно так же ассоциирует произнесенные громко

слова со своими грезами, как делает это спящий Пьер Безухов в «Войне и мире»: он произносит во сне «сопрягать надо», связывая это со своим сном, в то время когда ему кричат: «Запрягать надо!».

Другая группа произведений Гаршина, в которых можно отметить влияние Толстого, — это его нравоучительные рассказы: «Сказание о гордом Аггее» и «Сигнал». Здесь прямое подражание стилю народных рассказов Толстого настолько ясно, что не требуется никаких доказательств. Простой до последних пределов язык «Сигнала» — это прямо язык Толстого в его моральных повествованиях для народа.

Обозрение литературной деятельности Гаршина было бы не полно, если бы мы не коснулись тех его произведений, которые остались только в замыслах или были начаты и не окончены. Кое-что, без сомнения, осталось после Гаршина в черновом и неоконченном виде, но только немного из этого его наследства стало известным.

В 1880 году и в следующие ближайшие годы Гаршин говорил многим о большом произведении «Люди и война», которое он пишет. В целом это произведение должно было являться протестом против войны. Напечатанный в мартовской книге «Русского богатства» за 1880 г. очерк «Денщик и офицер» должен был явиться лишь началом этого произведения. По письмам Гаршина выходит, что им была задумана большая книга — больше 15 печатных листов — и что значительная часть ее уже была написана. Следов от этой работы не осталось. Принимая во внимание, что подобные сообщения делались Гаршиным в болезненном состоянии, можно думать, что многое здесь (о размерах всего произведения и о том, какая большая часть уже написана) является преувеличением.

В 1884 году Гаршин сообщает о своих попытках написать большое произведение из современной жизни, «с бытописанием» и о своих цензурных опасениях. К этому же году относится его совместная с Н. А. Демчинским работа над пьесой. В этой четырехактной драме каждый из сотрудников написал по два действия. Текст был не вполне закончен. Сделать общую сводку всего написанного и окончательно отделать пьесу не удалось: помешали отчасти работы Гаршина по с'езду, а главным образом, состояние его здоровья. Таким образом, пьеса осталась в черновом виде. Тема ее была дана жизнью: один молодой техник, в погоне за деньгами, продал свою жену, и об этом говорили в Петербурге. Все участники этой житейской драмы были в то время живы, в том числе и жена. Но Гаршин ни за что не хотел с этим помириться. «Мы ее убьем, — говорил он горячо Демчинскому, — оставить ее жить — это слишком тяжело для души». Тяжелый сюжет пьесы характерен для Гаршина. В общем пьеса, насколько можно судить по черновому наброску, не поднимается выше посредственности. Способностями драматурга, как видно, Гаршин не обладал.

Мрачный сюжет был и у произведения, задуманного Гаршиным в 1885 г. Одна девушка, народная учительница Р., которую Гаршин знал, покончила самоубийством. В марте 1885 г. он пишет Латкину: «Принимаюсь за Р. Хочу сделать из нее центральную фигуру довольно сложной штуки (сложной для моих сил, уменя)». Неизвестно, эту самую вещь или другую имел в виду Гаршин, когда жаловался летом 1886 года Абрамову, что у него пропала довольно большая работа: в течение предшествующей зимы она сложилась у него в голове и уже в значительной мере была перенесена на бумагу; оставалось связать отдельные части — и повесть была бы

готова, но болезнь помешала этому, и он, как уверял, забыл, что, собственно, он хотел написать. Кажется, эта работа была им сожжена.

Летом 1887 года Гаршин написал рассказ, который он не решался опубликовать из-за слишком необычной темы, опасаясь насмешек над тем, что он «философствует». «Это была странная история, с ярким фантастическим характером, с медиумическими явлениями и пространными диалогами научного и философского характера. Общий смысл ее был — защита ересей в науке, протест против научной нетерпимости, против исключительной ортодоксальности людей ученого мира. Представителем «ереси» в науке был выведен молодой человек, натуралист по образованию, странный болезненный чудаки, может быть, с легким психозом и с сильной склонностью к отвлеченному мышлению. «Он вечно сидит один в своей комнате и думает, и додумался до медиумических явлений. По просьбе своего ученого друга, пораженного новыми и таинственными явлениями, он показал то, до чего он додумался, избранному обществу ученых скептиков — и поплатился, заранее это зная, за обнаружение своей «творческой силы» всей своей душевной деятельностью: после сеанса он впал в неизлечимое слабоумие». Содержание рассказа, со всеми подробностями, местами, вероятно, подлинными словами, как было написано, Гаршин позже сообщил Фаусеку. «Все, что он рассказывал, было очень умно и очень интересно; несмотря на отвлеченные рассуждения, самый интерес рассказа и фабулы все более и более возрастал, а фантастический элемент, полный странной, несколько болезненной поэтичности, придавал всему рассказу особенный, оригинальный оттенок. Вообще это была вещь в высшей степени оригинальная». Гаршин написал ее в несколько дней, а когда

заболел, то сжег рукопись и потом глубоко сожалел об этом.

Если к этому прибавить план романа из эпохи Петра I, о чем говорилось выше, то этим будет исчерпано все важнейшее, касающееся неосуществленных литературных замыслов Гаршина. Зимой 1886—1887 г.г. Гаршин сообщал некоторым знакомым подробности плана этого произведения. Содержание романа должно было вертеться вокруг борьбы старой и новой России. Как новаторы в романе выступали Петр и Меншиков, а как представитель старой Руси — подьячий Докукин, обличавший со своей точки зрения Петра за его деяния. Алексей Петрович тоже, повидимому, должен был занять в романе видное место.

Эволюция Гаршина как писателя состояла в том, что он в последние годы усиленно стремился к другой манере, — более спокойной, эпической, направленной не столько на свои переживания, сколько на внешний мир. Сюжета для романа или большой повести он искал и в современности, и в историческом прошлом. Но «новая манера» не сразу давалась. «Надежду Николаевну» сам Гаршин считал неудачным произведением. «Сигнал» и «Сказание о гордом Аггее», конечно, написаны в объективном тоне, но эти вещи, не особенно значительные в художественном отношении, не могли удовлетворить ни самого писателя, ни читателей.

Болезнь и смерть прервали эволюцию Гаршина, — он остался в русской литературе с теми характерными чертами писательской физиономии, которые самому ему стали представляться уже чем-то изжитым. Мы не знаем, к чему пришел бы Гаршин, живи он больше, но и с тем обликом, который им выявлен, он прочно вошел в русскую литературу. В творчестве его с большой полнотой и углубленностью выразились настроения

поколения 70-х и 80-х годов. Но не с чисто исторической только точки зрения интересен Гаршин. Когда известная эпоха кончается, то часть того, чем она жила и волновалась, умирает вместе с нею и делается достоянием одних записных историков. Но нечто от нее переходит к другим поколениям, живущим интересами нового исторического дня. Это те достижения в области ума и чувства, которые были у лучших, наиболее чутких людей своей эпохи. В нашу ярко революционную эпоху новый класс, выступивший на строительство жизни, решительно покончивший со старым миром эксплуатации, не отказывается от того ценного, что есть в наследстве прежних поколений. Гаршин — с его бесконечно чуткой совестью, с некрикливым, но глубоко прочувствованным изобличением социальных уродств буржуазного строя, с его тоской по гармонической жизни, с благородно простой и лирически захватывающей формой его произведений — сохраняет свою ценность и для нашего времени.

Важнейшая литература

- Собрание сочинений В. М. Гаршина. Изд. А. Ф. Маркса, 1910. (Приложение к „Ниве“.) Это наиболее полное собрание. К нему приложены воспоминания о Гаршине Малышева, Фаусека, Евг. Гаршина, Акимова и др. Здесь же и автобиография Гаршина и статьи Гл. Успенского, Ясинского, Якубовича и др.
- Сборник „Памяти Гаршина“. 1889.
- Сборник „Красный цветок“. 1889.
- А. Скабичевский. Биографический очерк (при собрании сочинений Гаршина в издании Литературного Фонда).
- Я. Абрамов. Материалы для биографии Гаршина (в сборнике „Памяти Гаршина“).
- Н. Коробка В. М. Гаршин. „Образование“, 1905, 11—12.
- Е. Маевский. Без выхода. „Наша Заря“, 1913, 7.
- Евг. Соловьев. Очерки из истории русской литературы XIX века, изд. 4-е, стр. 518—532.
- Вл. Короленко. Всев. Мих. Гаршин, „История русской литературы XIX века“, изд. „Мир“, том IV.
- Н. Бродский. Новое о Гаршине. „Голос Минувшего“, 1913, 5.
- Н. Крашенинников. К биографии В. М. Гаршина. „Русская Мысль“, 1917, 1.
- Ф. Фидлер. Литературные силуэты. Воспоминания. „Новое Слово“, 1914, 1.
- Н. Баженов. Душевная драма Гаршина. Психиатрические беседы на литературные и общественные темы. 1903.
- С. Андреевский. Литературные очерки, 4-е изд. 1913.
- Ю. Айхенвальд. Силуэты русских писателей, том I.
- К. Чуковский. О Всев. Гаршине. „Русск. Мысль“, 1909, 12.
- Е. Колтоновская. Художник-печальник. „Вестник Европы“, 1913, 4.
- С. Мстиславский. В. М. Гаршин. „Заветы“, 1913, 3.
- К. Арсеньев. Гаршин и его творчество. Критические этюды, том II.
- Г. Новополин. В сумерках литературы и жизни. Изд. 2-е, 1913.
- Е. Ляцкий. Апостол мира. „Журнал для всех“, 1900, 9, 10.
- М. Протопопов. Литературно-критические характеристики. Изд. 2-е, 1898.

